

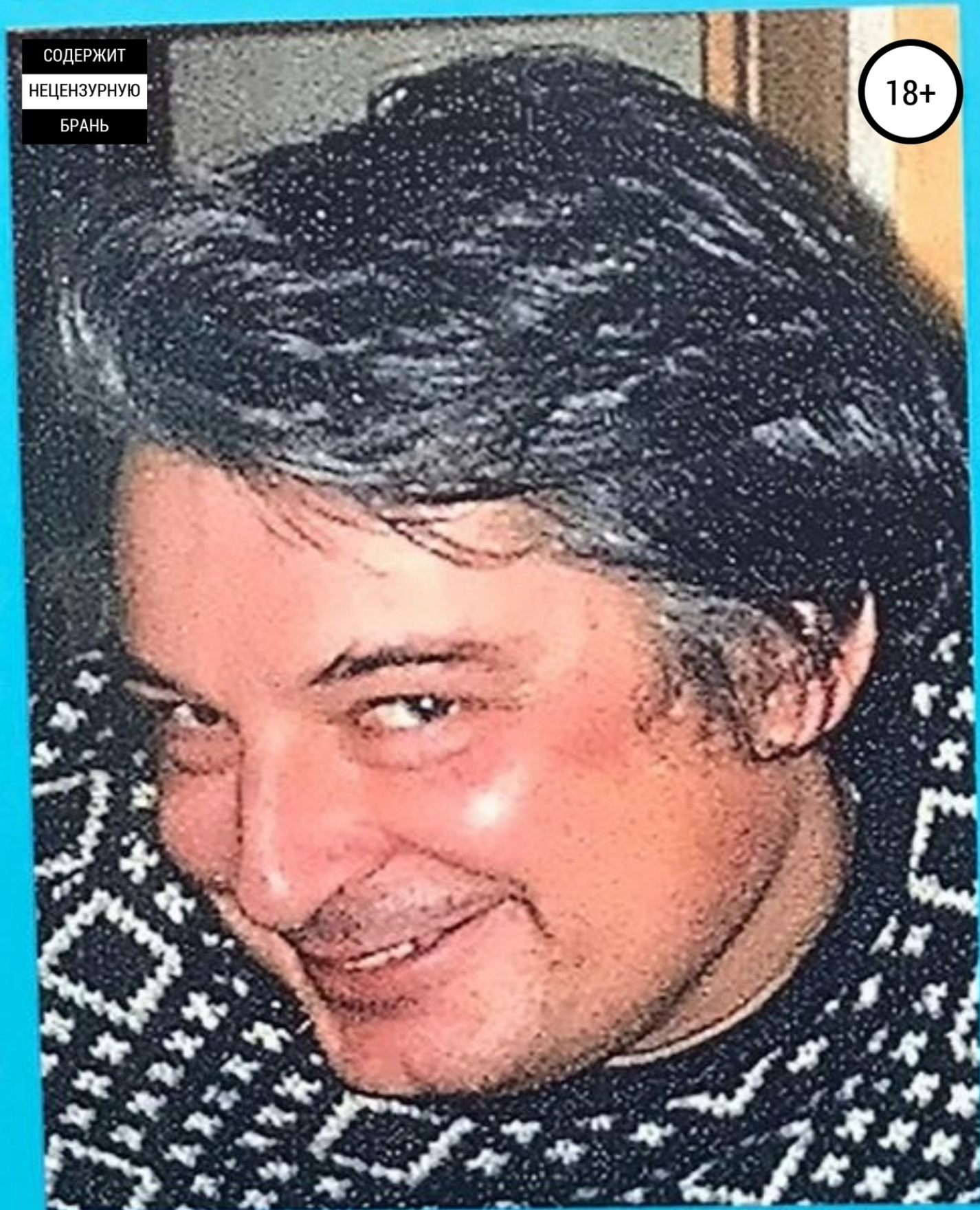
ИГОРЬ ГЕРГЕНРЁДЕР

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+



РУССКИЕ ЭРОТИЧЕСКИЕ СКАЗЫ

Игорь Гергенрёдер

Русские эротические сказы

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Гергенрёдер И. А.

Русские эротические сказы / И. А. Гергенрёдер — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Показаны скрывавшиеся любовные таинства русского села, подано проникновение в секреты русской тантры. Высвечены также сногшибательные развлечения городских блатарей 1970-х годов, их ни с чем не сравнимая изобретательность в сексуальных играх. Дано и время новых русских, когда появляется новый сельский любовник-хитрован Тиша Усик в джинсах и кроссовках, который за услугу, жизненно важную для олигарха, просит награду, скромнее некуда, – спиннинг. Стоит обратить внимание на то, как отличается от языка Вступительного слова уникальный живой язык самих сказов. Содержит нецензурную брань.

© Гергенрёдер И. А., 2018

© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

Вступительное слово	5
Лосёвый Чудь	15
Зоя Незнаниха	24
Птица Уксюр	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Вступительное слово

Личное и космическое в соитии.

Впечатления Восторженного Человека

До сих пор не определяю чувство, ошеломившее меня, когда из темноты выбежали с хохотом девушки, буйно раскованные, сильные, совершенно нагие. Сверканье ядрёных икр, ягодиц, мелькание торчливых грудей, огненные дерзкие взгляды – буря возбуждения смешала, смела мысли. Я восхищён? Безусловно! Сконфужен? Очевидно. Мы в огромном сарае, под потолком пылают мощные лампы, два прожектора укреплены на балке. Двери распахнуты в тёплую июльскую ночь.

Начинается завораживающий праздник деревенской молодёжи, кратко называемый: *гульба*. Празднество негласно дозволено местными властями по случаю постройки двух сараев. Они возведены в поразительно сжатый срок. Вряд ли это произошло бы, не намеки начальство на *гульбу* по окончании строительства. Молодёжь развила столь горячую энергию, что обошлось без помощи так называемых шабашников. Бич местности – прогрессирующая нехватка рабочих рук. Но тут их нашлось достаточно – перед самой-то уборочной!

До того продуктивным оказалось обещание *гульбы*: дерзких народных игр с потрясающим любовным озорством, с откровенными актами совокупления. Парни, девчата, подростки в предвкушении безумно счастливой ночи стекались на строительство сараев и с дальней округи. Я видел группу из соседней Башкирии (из русской деревни). Девять пареньков и семь девушек проделали на мотоциклах путь в двести тридцать километров.

Местные власти, решаясь в удавке хозяйственных забот прибегнуть к *гульбе*, идут на немалый риск. Областная парторганизация, прокуратура и КГБ проявляют интерес к неофициальным сборищам молодёжи, в особенности же к тем, что связаны со старинными местными традициями. Даже в хрущёвскую так называемую «оттепель» совершеннолетних участников *гульбы* настигали длительные тюремные сроки. При этом обязательно попадал за решётку и кто-либо из начальства – за халатность и попустительство.

В то лето 1973 мне до чрезвычайности посчастливилось. Я присутствовал на празднике, подобного которому не было в южноуральских краях, по меньшей мере, лет двенадцать. Как выразить всю пылкость впечатления?.. Несколько парней играют на аккордеонах, звучат балайки, башкирские бубны. Обнажённые девы приплясывают на гладчайшем некрашеном полу, шаловливо вскрикивают, прячутся друг за дружку, зазывно шлёпают себя по бёдрам. Игрунный – десять-двенадцать. Это опытные девушки с обольстительно вызревшими прелестями; на головах – венки из цветов, роскошные волосы распущены.

Ужимки, выплясы всё темпераментней, озорницы задорно затрагивают парней. Мы образовали круг, пока ещё довольно широкий. Вызывающе прекрасная нагота девушек, их неподдельный, стихийно-рвущийся азарт желания воодушевляют бунтарством. Страстность подъёма так головокружительна, что переносит в иной мир, где реально утоление нестерпимой жажды. Жажды свободы, беззаветного наслаждения и героизма. Искренность вызова и красоты – без этого огня герою не родиться. Героическое дарится любовью.

Девицы, смелея в телодвижениях, запевают, толпящиеся подхватывают:

*Повернись направо, повернись налево:
Тут замедовело, там захорошело...*

Брюнетка с шельмецки-лукавым прехорошеньким личиком, колыхая передо мной крупными грудями, спрашивает, отчего я не пою? Или не хочу ни одну из них *победить*? Её оттес-

няет коренастенькая прелестница с задумчивым, без улыбки, взглядом, произносит что-то, не слышное мне, – подружки хохочут. Взгляд опять и опять скользит от моего лица вниз – я чувствую, как краснею до корней волос.

– Что ему петь? – и, указывая глазами, нагая девушка звонко поясняет: – Старичок торчком – победишь молчком!

В сконфуженности не знаю, куда деться. Вот она, гнетущая закрепошённость: отравленный плод тотализированного воспитания. До чего сознание должно быть изуродовано, чтобы неопишная прелесть естественного воспринималась как преступление против морали. Воздвигнутая ленинско-сталинским государством пирамида фальшивых ценностей высится вне здоровых основ народного мировосприятия. Под уродливым сооружением, поднятым на крови и лжи, нашли законное место массовая безмозглость, эмоциональное и духовное отупение, садизм в его разновидностях, мерзко-воровской «широкоохватный» разврат. Снующим внутри трухлявой пирамиды все эти явления – родные; просто правила запрещают о них распространяться. Но стоит кому-то выглянуть в мир разневоленных народных желаний – и у бедняги выпучиваются глаза; вот-вот его хватит кондрашка. Он истошно взывает к власти в невыносимом ощущении собственной обделённости. О, как ему жаждется, чтобы гнусность запрета, рождающая одичание и алкоголизм, омертвила и это чудом уцелевшее светлое озерцо естественно-чувственной жизни! Возмущение увиденным он передаёт посредством похабных сравнений и матерщины.

А как раз этому и нет места в поэтичных таинствах любовного восторга. Исполненные трогательного юмора слова «старичок», «приветень» (лирическое образование от слова «приветить») могут у кого-то вызвать усмешку, но повернётся ли язык назвать их циничными?.. Освобождённая искренность влечения ведёт к чистоте, а не в закоулки порока. Не утомлюсь утверждать это, вопреки замечаниям, будто я – как выразился некий критик – «рискованно впечатлителен». По мне, гораздо хуже – недооценивать первозданную волю к игре, присущую и людям, и животным.

Стремление вырваться из пут и помочь в этом другим не пострадает, будь оно описано даже с некоторым – если угодно – пафосом. Мысль не более спорная, чем иная: нельзя раскрепоститься в каких-то полчаса. Услышав от девушки присказку, в которой слились смелость и доверительность, я понял, что происходящее – для меня ещё не сияние полдня, а, скорее, полыхание огня с пляской вокруг него неистово ликующих мотыльков. Наверно, мои глаза выпучились – иначе коренастенькая чаровница и её подруга-брюнетка не смотрели бы с таким насмешливым любопытством. Они обменялись репликами, прошептав их друг другу на ухо. Я напряг мои умственные способности, силясь изобрести блёсткую остроту, но всё, что пришло в голову, казалось пошлым или грубым.

Меж тем девицы повели хоровод, с вывертами притопывая босыми пятками. Волнующее пение продолжилось:

*Хорошо медует приветень курчава,
Старичок налево, кутачина справа...*

Ловлю взгляд коренастенькой, завидуя её властной дерзновенной открытости: как очаровательно торчат чуть в стороны её соски, напоминая рожки козлёнка! тёмный мысок растительности, подровненный бритвой, умилительно курчавится. Девушка в хороводе проходит с приплясом мимо меня, выкрикивает мне загадку:

– Звёздочка пред месяцем, полюбил – не свесится!

Меня прошибает пот, теряю драгоценные мгновения. Брюнетка с шельмецким личиком, притопывая голый ножкой, бросает мне нетерпеливо:

– Отгадывай, кто такие? Ну?!

Сбоку от меня выступает на шаг парень.

– Месяц – это вам старичок, а звёздочка – приветень. Вот!

Хлопки в ладоши, взвизги, хохот; девушки расступились – парень в середине стайки. На две-три минуты его заслонили голые спинки, ягодички – и вот он стоит разутый, на нём только рубашка. Игрушки нервно толпятся, возбуждённые его впечатляющей наготой. Лицо славное, почти детское – но он уже по-мужски кряжист. Красотка-брюнетка, крутнувшись, звучно шлёпнула его по бедру босой стопой. Несколько подружек повторили ловкую выходку.

Среди нагих шалуний появляется молодой человек с аккордеоном; громче и задорней наяривают бубны. Парень встаёт на принесённый табурет: озорницы награждают прикосновениями его выраженную мужественность. Меж тем из рук в руки передаётся довольно объёмистый чайник.

– Ягодная медовина! – раздаются тут и там голоса зрителей-мужчин.

– Ну, а если разольёт...

Прелестницы принимают перед парнем беззастенчиво-притягательные позы, он поедает глазами гибких воделеющих чаровниц. Миг – чайник повешен.

– Держит! Держит, о-ооо!!!

– Есть почин!.. – громко и радостно объявил кто-то из публики.

– Будет гульба отменная!

И вот уже приятный тенорок вернул присказку:

– От этакой стати гульба при понятии!

Герой момента твёрдо стоит на табурете, выдвинув низ туловища. Девушки поочерёдно, наклоня висящий чайник руками, отхлёбывают из носика, сладострастно причмокивают, потирают груди и надпашье; отходя, потягиваются. Сколько зовущей неги! Благоухание летней ночи льётся в распахнутые двери, в широкий проём с близкого неба сияют рог месяца и звёзды-звёзды-звёзды... Около меня народ рассуждает:

– Братан сказывал, в Привольном, в пятьдесят девятом, парнишка ведро с молоком держал.

– Было, знаем! Посадили парнишку. Но заметь – с молоком парным ведро!

– Именно! А с водой бы, к примеру, ведро не удержал. Хоть семи задницами подопри.

– Пусть парное благодарит! Уж как оно полезно – и старичку, и приветени – парное-то молочко!

– А наши хорошие, гляди-кошь, как сластятся клюквенной медовиной...

От дев, возбуждённых ритуалом, взбодрённых глотками сладостно-пенной медовины, исходят таинственно-окрыляющие волны. Восхитительная безудержность торжества воссоздала мир чарующих сказов, мы в самой его сердцевине, где нет гнёта, хамства, матерной ругани и тюремной морали, но где всевластна вечно влекущая народная мечта о доступности необычайного. Мы среди нежного и душевного, что вдруг выплеснулось из гениальной памяти сказителей и стало зримым, сама деликатность воплотилась в трепетные девичьи формы, в юные лица.

Ликование бурливо-безбрежно: всё новые и новые девушки, разнагишавшись, подходят отхлебнуть из чайника, потирая и пошлёпывая разохотившиеся тела. Но вот чайник пуст. Озорницы с забористым смехом подхватывают парня, снимают с табурета.

– Разгадка цветов! Бой любви! – разносится в гурьбе. – Собрание для обоняния!

Посреди сарая вновь образовался круг. На пол ставят корзинки с влажными пахучими цветами. Парень стоит в круге; чайник, теперь уже лёгкий, – на прежнем месте. Высокая девушка, постарше остальных, щёлкает пальцем по чайнику, сняв, бросает подружкам. Взяв то, что составляет предмет мужской гордости, ведёт парня за собой на середину круга. У неё тонкое стройное тело, но груди большие; она чересчур сильно повиливает бёдрами, и, однако, это идёт ей.

Игриво шлёпнув парня ладонью, раза два ущипнув, она поворачивает его спиной к цветочным корзинам.

– Ну, теперь гляди! – говорит кто-то сбоку от меня. – Ихняя судьба решается!

Другой добавляет:

– Не то что глупо щупаться или ещё глупей тереться, нет! Тут задумка, да притом с красотой. Это и есть – гульба при понятии!

Подружки подали высокой девушке корзинку с цветами. Выбрав цветок, она прижимает его к губам. Держит минуту-другую.

– Хватит! – кричат подружки. – Не подыгрывай ему. Ишь, понравился до чего.

Она нехотя отнимает цветок от губ, аккуратно помещает его ниже мыска и зажимает стельку меж ног. Страстнее гудят бубны, исстарались балалайки. Аккордеоны сменили разухабистую мелодию на что-то сентиментально-лиричное. Парень оборачивается, он заметно взволнован. Мягко обняв милую, привлекает к себе. Оба одного роста. То, чем парень так горд, находит цветок. Напруженная плоть упирается, тычется туда, где он зажат. При этом нос парня – у губ девушки. Её руки нервно разминают его поясницу, спускаются ниже – пощипывают.

– Переживает сколь за него! – воскликнула, не сдержалась одна из подруг.

– Не смущай его, Валя! – вмешалась вторая.

Он принюхивается, на лице отражается внутреннее напряжение. Брюнетка с лукавой усмешкой подступает к обнявшимся:

– Ну, где твоё обонянье? Разгадай!

Бедняга колеблется, принюхивается опять. Болельщики подбадривают его криками, девицы азартно взвизгивают, бьют в ладоши, хлопают себя по икрам, ягодицам. Он должен назвать цветок, что прижимала к губам девушка, цветок, которого касается отнюдь не носом. Раздаётся голосок, полный сочувствия:

– Тихо, вы! Не мешайте!

Другие участницы *гульбы* неуступчивы:

– Неколи нам ждать! Самим охота!..

Парень произносит беспомощно:

– Щас скажу... – и без уверенности добавляет: – Куневата красавка вроде...

Брюнетка протянула руку к промежности подруги, бесцеремонно выхватила стельку:

– Не угадано! – помахала бутоном над головой. – Драпач! Все смотрите – драпач-цветок!.. – и стала со смехом, безжалостно толкать парня к краю круга: – Иди, иди – мучайся!

Музыка смолкла, все разразились криками: подтрунивая, утешая, злорадствуя. Проигравший густо покраснел. Мужественность, благодаря которой он был героем события, разом сникла. Не угадав цветка по запаху, оставшемся на губах милой, он лишился права на соитие с нею.

– Валя, кого теперь выбираешь? – прозвенел вопрос бойкой красотки. – Иль я тебе избираю?

У меня похолодело и одновременно защекотало в горле, ибо шельмецкий взгляд прехорошенькой озорницы остановился на мне. К счастью (а может, и нет!), Валя заявила, что ни с кем, кроме того, кто столь драматично открыл *гульбу*, играть не будет. Под вздохи: «Любовь! Любовь!» – она бежит к своему единственному. Вопреки неудаче, ему отныне безраздельно принадлежит её сердце. По неписанным правилам, им нельзя соединиться в эту ночь. До конца *гульбы* (позднего утра) они останутся терпеливыми зрителями.

А на середине круга – ладно сложенная смуглая участница с огромной шапкой иссиня-чёрных, как вороново крыло, кудрей; мелкие, рассыпчатые, они великолепным руном ниспадают на гибкую спину. У девушки страстно-привлекательное, с высокими скулами лицо, глаза полыхают из-под стреловидных бровей. Недлинные, с лёгкой кривизной, ловкие ноги

исполнены остро-чувственной прелести. Игрунья пляшет в неистовом темпе балалаек и бубнов; мелькание икр, изумительно подвижных бёдер завораживает.

Приблизившись в пляске к краю круга справа от меня, танцовщица выбросила руку, указывая на молодого человека без рубашки. Выкрикнула загадку:

– Гонял – упустил, упал – загрузил, шапка лилова: молодчиком снова!

– Оголовок-посошок! – восклицает спрошенный; он заметно спешит, чтобы какой-нибудь соперник не опередил с разгадкой. – Всяко его зовут – кутак-напарье, старичок, теплюша!

Толпящиеся взволновались:

– Больно простую дала загадку!

Кто хлопает в ладоши с одобрением, кто – свистит.

– Понравился! Сговорились!

– Коли б сговор – могла б и потрудней задать...

– Да вы чего ополоумели? Её право – без загадок выбирать!

Она ведёт избранника на середину, он уже успел сбросить всё мешающее. У него копна пшеничных волос, приятно женственное лицо, усики, концами вниз, подчёркивают сочность губ; выражение несколько сладкое. Небольшого роста, сложения отнюдь не мощного, однако мужественность весьма внушительна. Девушка с силой шлёпает его по круглой ягодиче, он не остаётся в долгу. Тогда она награждает его шлепком, от которого зарозовела метка. Страстный смех, поощряющие возгласы. Кто-то из участниц кричит:

– И так-то оголовок соколом! А от шлёпа ещё соколистей стоит!

Девушка грубовато повернула молодого человека спиной к себе. Подали цветочную корзину. Выбрав цветок, она не целует его, а втыкает в свою чёрную шапку буйных, роскошных кудрей. Встряхивает головой: стебель держится в мелких плотных кудрях. Помедлив, она вынимает цветок, слегка приседает, чтобы удобнее зажать его. У неё гибкая тонкая талия, большой зад, кошачья грация движений. Она опускается на колени, принимает позу тигрицы, что встаёт ото сна, томно потягиваясь.

Молодому человеку разрешено обернуться. Расставив колени, он удерживается на пальцах ног. Охватив ногами игруню, склоняется над ней; пальцы его рук коснулись пола – крепко опёрся ими. Нос притронулся к иссиня-чёрному руну. Дионис, собирающийся объездить вакханку. Умелые движения туловища... фаллос – под крутыми толстыми выпуклостями; очевидно, нашёл цветок. Молодой человек погружает нос в плотные колечки руна, делает медленный вдох и, вскинув голову, выкрикивает хрипловато, с еле сдерживаемой страстью:

– Черлок колючий!

Девушка расставила колени – бутон упал на пол. Цветок тут же подхватывает подскочившая бойкая красotka:

– Угадано! Колючий черлок!

Экстаз всколыхнул толпу.

– Не носом – напарьем опознал, по шершавости! Колюч-то черлок!

– А то нет? Оголовком коснулся – и ясно!

– Сколь говорено – на черлок не играть!

– Она нарочно выбрала черлок: аж два отгада!

– Сговорились!

– Вы чего ополоумели? Шершавость! А то там, помимо черлока, ничего колючего нет?!

Споры перекрыл крик: сперва сдавленный, потом – разнёсшийся во всю силу. Восторженно-бешеное соитие! девушка, сладострастно прогибая спину, запрокинула голову – шапка кудрей скрыла от меня профиль счастливца, который безоглядно старателен. Заразительно-жаркая спешка самозабвенно действующих тел! Кругом молчание. Сколько минут прошло? Пять? Больше?... Вдруг тихий голос произносит слева от меня:

– Зачем об загадке сговариваться? – коренастенькая знакомая смотрит мне в глаза задумчиво, без улыбки. – Надо – я с месяцем сговорюсь! Буду его просить, почувствую себя звёздочкой горячее, и он пошлёт мне отгадчика желанного – на любую загадку, на любой цветок!

Мужчина рядом с ней одобрительно смеётся, переминается с ноги на ногу от желания.

– Поглянь, как пахнут масло! Насчёт загадки, может, и сговорились, но черлок он сам честно отгадал. Главное – вон как оба-то довольны. Заяц с топотком, гусь с гоготком, а скок до упора – завсегда не от вора! – мужчина, встав позади девушки, обнимает её, покряхтывая, прижимает к себе выпуклые ягодицы, но она высвобождается, берёт меня за руку, увлекает к выходу.

Оборачиваюсь: пара завершила действие и застыла. Моя спутница глядит на блаженно изнемогших со жгучим сопереживанием; до чего меня тянет поцеловать её! Мы выходим наружу, впереди вырисовываются широкие смутные пятна. Глаза после яркого света не сразу схватывают очертания кустов.

Воздух невозмутимо тих, нас обволакивает густая душноватая теплынь. С озабоченно-деловитым гудением пролетел жук. Мне представляется, что он подвыпил, но крепко помнит о некой важной цели. Девушка приблизилась к кустам и, отстраняя рукой ветви, вошла в прогалину; иду следом. Где-то близко в листве ворохнулась, чуть пискнула птица.

Я несколько раз уже прикоснулся к телу моей спутницы, теперь тронул ладонью её плечо, но она не остановилась. Путь нам преградил плетень с одичало разросшейся по обе стороны высокой травой. Девушка осторожно пошла вдоль плетня, открыла калитку, мы оказались среди яблонь.

– Добро пожаловать или от ворот поворот! – было вдруг сказано со зловещей издёвкой.

Я страдал, не понимая, отчего отношение ко мне стало иным. Хотелось думать: нет-нет, это не всерьёз! Ночь дышала истомой и что, казалось бы, могла сулить, как не упоение? Нас обступал сад, за деревьями темнел дом, чью шиферную крышу выбеливал свет луны. Та, кого я в мыслях уже страстно ласкал, направилась к постройке: по виду, летней кухне. У двери порывисто прошептала мне:

– Не злись, но не нравишься ты больше!

– Что я сделал не так? – мой голос дрожал, и я едва не выругал себя от досады.

– Только полезь... – произнесла она с угрозой и повернула голову в сторону дома, – окна открыты, отец и мать спят чутко – сразу вскочат.

Я молчал, невыразимо страхась одного: что придётся уйти. Она шептала:

– Сперва не нахальничал, смотрел на нас, будто перед тобой незнамо какие бесстыдницы.

А как никто не видит, начал прилипать. Ишь! Я этого не люблю!

– Милая... – прошептал я покорно и елебно и принялся нанизывать одно ласковое выражение на другое...

Она следила за мной: обнажённая, ладная, угрюмо насторожившаяся.

– Не улестишь! Мне твои слова – против души! Вы, городские, – люди притворные.

– Не городской я вовсе! В маленьком посёлке вырос.

– Но теперь-то в институте учишься...

– Это вина моя?.. – прошептал я жалобно.

Она бросила запальчиво:

– Студент-умник! Будешь в институте своим подружкам рассказывать, какие деревенские девки бесстыжие, да и дуры ещё! как ты им головы кружил.

Негодующая прелесть вошла во флигелёк, включила электричество и плотно закрыла дверь перед моим носом. В отчаянии я невольно возвёл глаза к небу. В нём стоял твёрдо очерченный месяц, лучились звёзды, испуская волны какого-то сладко будоражащего магнетизма. Смятение и горчайшая тоска внезапно родили во мне позыв к творчеству, стало слагаться стихотворение... Минуту минут десять, четверть часа. Я легонько постучался.

– Скребёшься, как котяра! – прозвучало ехидное. – А запора-то нет у двери.

Я нажал на неё и попал в летнюю кухню. Сбоку у окошка стоял стол; у стены напротив, на покрытой тулупом лавке, полулежала моя любовь, она опоясалась чистым кухонным полотенцем.

– Студент-студентяра! – произнесла с наигранной враждебностью.

Вдохновение, владевшее мной, пробудило во мне отвагу. Я стал решительно делать то, чего хотелось. Снял, уронил на пол рубашку, за нею – брюки; предварительно извлёк из заднего кармана и положил на стол записную книжку с авторучкой, которые всегда имею при себе.

Моя пригожая легла на тулуп ничком, приподняла свою развитую попку и сделала вид, будто пытается рукой натянуть на ягодицу краешек полотенца. Волевым усилием я оторвал взгляд, присел на табуретку и принялся записывать мою импровизацию. Девушка смешливо наморщила носик.

– Поросячья ножка торчит, а он пишет!

– Что, что? – вырвалось у меня. – Как ты сказала?

– Подруга называет такие поросячьими ножками.

– Какие – такие? – спросил я обеспокоенно.

– Эдакие! У неё узнай! – и насмешница искушающе-игриво повиляла попкой.

Подавив стон, я неимоверным напряжением заставил себя сосредоточиться на стихе; зачеркнув несколько слов, вписал новые. Ненаглядная села на лавке, развела ноги и, перед тем как прикрыть её ладошкой, продемонстрировала мне.

– Дай, что написал!

Я вырвал из записной книжки листок, встал перед хозяйкой, прошептал заискивающе, как только смог:

– Хорошая... дотронься – и дам...

Она прикоснулась к моему стоячему фаллосу, кратко и дразняще потерела, затем, завладев листком, стала читать вслух:

*Пара лун взволнованно-устало
В душиной ночи жаждет опахла,
Хочет и боится тонкой ласки
Привередливо-застенчивая сказка.*

*А упрямства крепкое копытце
Победить её стыдливость тицится:
Нежности с обидой вперемежку
Искушают сказку-сладкоежку.*

*Но она с собой играет в прятки —
И, на таинство заманчивое падки,
Продолжают препираться глупо
Сказка и упрямая за-а-а...агадка.*

Произнеся последнее слово, девушка зажмурилась от остроты эмоций – я заметил движение губ и помог её ручке найти то, что было безмолвно названо. Подушечки пальчиков замерли на налитой зудом головке. Моя рука, несмотря на увёртку чаровницы, с которой она несколько запоздала, добралась до промежности, тронула волосяной покров. Неудержимо повлекло затейливо понежничать с переполненной нектаром, но теперь её владелица умело сопротивлялась, предпочитая пока пиру чувств их дегустацию.

– Как ты написал – копытце? – прошептала с горловым смешком.

Я прервал ласки и по памяти прочитал две строки.

– Хочешь, – хихикнув, спросила она, – *покопытить заливную?*

– Хочу-ууу!..

Велев мне пристроиться сверху нужным образом, она взяла штуку и, притронувшись ею к заветной, стала с моей помощью проделывать то, что я знал как «*дразнение*». Теперь процедура имела новое обозначение: моя возлюбленная с блеском показала творческий дар. Вознесённый на седьмое небо, я обогатился также выражением «*пончик с разрезом*»... Наконец-то мне дали угоститься им до счастливой отрыжки. Немного позже любимая сказала:

– Чтобы скорей опять встал, поешь сметаны.

Я не без удивления обнаружил, что «сметана» – не иносказание. Мне в самом деле предложили густую деревенскую сметану. Мы ели её и, весело безобразничая, мазали друг другу щёки. Силы восстановились, но хозяйка потребовала:

– Погоди! Посиди со стоячим и попиши что-нибудь...

Скрепя сердце, я исполнил её прихоть. Делая записи, спросил из неотвязного педантизма, не поделится ли моя любовь ещё чем-нибудь любопытным? Она, лукаво взглянув, произнесла «*звёздочка*» и «*сигарить*». Глагол означал известное действие, и я заинтересовался, не образован ли он от слова «сигара», которое, казалось бы, должно было оставаться чуждым лексике края. Моя милая не знала ответа, и впоследствии, несмотря на всё моё усердие в исследовании вопроса, я так и не пришёл к его окончательному прояснению. Зато выяснил, что «*звёздочка*» может относиться и вообще к девушке. Звёзды и месяц – это разгорячённые престлестницы и их возлюбленный...

Сколь поэтична душа народа, как восхитителен внутренний мир девушки, если в сладостные минуты перед соитием она чувствует себя беззаветно горящей звездой! Возлюбленный обретает черты месяца – не ясноликого ли богатыря, повелителя, божества? «*Он пошлёт мне отгадчика желанного!*» Месяц – это и прообраз суженого, вознесённый в космические пределы. Народное сознание свело в озаряющем миге соития личное и космическое, опозитивировав повседневность. «*Звезда из-под платья – ан месяц со статью!*», «*Отчего она горит? Больно месяц становит!*»

Сколько лиричности вносится в обозначение интимного! «*Кучерявка*», «*елок*», «*лукавый прищур*»... Какие ещё слова-самоцветы бережёт мужское сердце для предмета желаний?.. Неменьшее богатство припасено и у девушки: «*теплюша*», «*гусёк-тупорылец*», «*посошок*»... Тепло, согревающее сердце, неизменно облагораживает акт: «*Как он меня вытеплит!*» О счастье разделённой любви, о пережитой судороге она скажет: «*Я вздохнула...*» Герой события произнесёт: «*Я восхитил!*»

Объезжая в 1972–75 годах сёла в бассейне реки, которая некогда звалась Яиком, изучая то, что поистине заслуживает определения «феномен русского Приуралья», я встречал среди грубостей и оголтелого цинизма озорно звучащее: «*А мы – восхищаться! А мы – обожаться!*», «*Завелись в леске коренья – ищут девки восхищенья!*» Как часто слышалось: «*Помедем*», «*захорошем*»!

Однажды мне повезло стать свидетелем такого вот объяснения в любви: «*Я тебя восхищу!*» – «*Ой ли?*» – «*Была б приветень добра – навздыхаешься до утра!*»

Услышанное и увиденное я постарался, по мере возможности, передать в сказах. Моей работе помогала очевидность: насколько жизнелюбивые шалости в сёлах, где я побывал, отличаются от глумливой злобы «Заветных сказок» М. Н. Афанасьева. Мне хотелось бы, чтобы те, кому мои сказы покажутся чересчур озорными, сравнили их с афанасьевскими «Заветными сказками».

Надеюсь, что, несмотря на катастрофические деформации природы и деревенского быта, и сейчас ещё жива в Приуральской Руси та неподражаемо образная речь, которая столь ладно лилась из уст сказителей: моложавых стариков, чей гений светился в каждой чудаческой

ужимке. В свои семьдесят с лишком они делили усладу плотской любви с девушками, часто и у молодых крепышей вызывая зависть.

Когда на Западе появились мои публикации об этих эпизодах, один американский учёный весьма неуклюже сыронизировал, высказав предположение: а не ловец ли я летающих тарелок? За меня вступился авторитетный германский специалист по России – вступился, напомнив человека, который путает честность с чесночным соусом. Профессор заявил в солидном издании, что я достоверно описал явление, известное как снохачество. К сему он присовокупил мысль, будто я показываю «развитие процесса». В советское-де время колхозные бригады, оделявшие вниманием своих снох, якобы получали, выходя на пенсию, право первой ночи: в отношении всех тех девиц, чьи родители и женихи не пользовались влиянием.

Вызывает недоумение, почему мои публикации оказались поняты именно так. Сказители, которых я встречал, не были колхозными бригадами, и девушки приходили к ним сами. Начиналась трапеза, хозяин любезно потчевал гостью, рассказывал какую-нибудь историю, пел что-либо старинное, затем происходило неспешное, носившее характер обряда, раздевание – и в завершение торжествовала плотская любовь. Девушек вела к сказителям потребность в бесценном опыте или – если понимать глубже – в *одухотворении* соития. Я касаюсь категории познания, относящейся к тому синтезу чувственного и духовного, который привносил в бытие села устремлённость в космос.

Народное миропонимание Приуральской Руси полагает её местом, славным своими исполинами женолюбия и владычицами сладострастия. Бесконечно восхищаясь ими, народ самоутверждается в осознании непреходящей значимости края. Любовные отношения казака, казачки и персиянина в сказе «Лосёвый Чудь» преисполнены того эмоционально-духовного накала, который сопутствует Приуральской Руси в историческом утверждении её индивидуальности, когда то, что присуще России европейской, постепенно и непросто сживается с чертами Востока.

Поглощая влияние Востока, русское Приуралье охотно признаёт его оплодотворяющую силу. Но мужественное начало, воплощённое в казачестве, само хочет властвовать этой силой и сохранить самобытность.

Востоку, чьим представителем выступает персиянин, Приуральская Русь желанна, как бывает желанна многообещающая, с несравненными прелестями, любовница («коса толстая, талия тонкая и большой, очень белый зад. Тугой, крепкий, очень хороший»). Престарелый любовник, казалось бы, преуспевает – но высочайше-упорна ревность мужественного начала. В конце концов оно достигает вожаемой мощи женолюбия. И выживает – гонимое! действует – влекущее!

В сказе «Птица Уксюр» исполинское женолюбие не ведаёт недоступных пространств, «освоив» заокеанскую Бразилию. Владычица сладострастия – посланница бразильской императрицы – деятельно участвует в сбережении самобытного Приуралья.

По-детски непосредственно открываясь экзотике, народное сознание ждёт помощи отовсюду, ибо убеждено, что везде есть героические женолюбые и самозабвенные прелестницы. Их желание защитить естественность и значимость соития как исключительное достояние Приуральской Руси кажется само собой разумеющимся.

Аравийские жемчуга и африканские страсти переполняют истории о Степовом Гулеване и Форсистой Полиньке. Если в «Птице Уксюр» на помощь Приуралью приходит мировая женственность, то теперь Приуральская Русь осознаёт собственную, самодовлеющую волю к спасению, перед которой вынуждена приклониться высшая власть – Сталин и Хрущёв. Не постигший же сути местных поверий, глухой к евразийской ментальности Николай Бухарин кончает жизнь в подвале палача.

Приуральская Русь обличает в Бухарине пренебрежительное легкомыслие, которое выкалывают советские либералы к источнику народных идеалов, к вере в исключительность сво-

его края. В Бухарине воплощена та извращённая женственность, что жаждет овладеть женственным же началом, заменив собой доминанту мужественного женолюбия. Неприятие духа евразийства привело Бухарина к тому, что он так и не понял причин кары. Глухота к духовным «табу» выглядит в представлениях народа кощунственной попыткой низвести таинство на уровень скотоложества.

Не менее непримиримо изобличается и измена носителю спасающей силы – трансастральному исполину женолюбия – Степовому Гулевану, измена, на какую толкнул низы населения соблазн коммунистического рая. В наказание виновные лишаются радости совокупления, меж тем как соблазнившая их советская власть заискивает перед мужественной мощью исполина и упивается сладостью его достоинств.

Обманувшиеся приходят к осознанию своего преступления. При этом вера в исключительность края вновь торжествует. Гулеван удостаивает избранниц непреходящей негой соития, оберегает его прелесть от опошления, печётся о сохранении неповторимого Приуралья. Недаром здесь поселяется бесподобно очаровательная игрунья Полинька, особенно благоволящая к местному юношеству.

Увидены лукавым проницательным глазом сельского мужичка мировые деятели Ленин и Сталин с их жёнами, не забываемый леваками многих стран Троцкий. Жизнь этих людей краденко «обсказана по-простому, по-нашему». Перед их памятью шапку не снимают, а сдвигают на затылок, говоря: «Яблок бы тебе всё да яблок! Так ведь и конское г... – яблоки!»

Какой сельский выходец просиял в поэзии так, как Сергей Есенин? Замечу, что ему принадлежат и строки:

*Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.*

А Фёдор Достоевский в «Записках из мертвого дома» сказал о разбойниках и атаманах разбойников: «Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего». У этих людей – своя собственная история. Свой театр – их жизнь. Их история, их театр напрашиваются на сопоставление с миром государственных воров. Поэтому, работая над русскими эротическими сказами, я не обошёл и блатные сказы, объединив их серию одним героем – Константином Павловичем Пинским.

Заключает сборник сказ о веке, когда вместе с новыми русскими вступает на сцену и новый русский деревенский любовник. В его лице торжествует, окрашивая память и духовное бытие народа, поразительный оптимизм, отчего поэзия совокупления, соединяя земное и космическое, делает Приуральскую Русь местом, волшебным притягательным для всего мира.

Лосёвый Чудь

Места эти звались Высокая Травка. Здесь было оренбургское казачество. Едешь четыре дня до Уральских отрогов, а травы с обеих сторон колеи двумя стенами так и клонятся на телегу. Высотой до конской холки.

Через нашу местность бухарские купцы проезжали на Казань. Летние дни разморят, от травяного духа человек пьян; кругом птички паруются. Купец в телегу положит под себя всего мягкого, его истомы и пронимает. Тут озорные девки разведут руками заросли и покажутся голые. Недалеко от дороги у них и шалаш, и квас для весёлого ожидания. Заслышат телегу и бегут крадком наперехватки. На самый стыд лопушок навешен.

Купца и подкинет. «Ай-ай, какой хороший! Скорей иди, барышня!» А она: «Брось шаль!» Посверкает телом, повернется умеючи – и скрылась. Так же и другая, и третья... Купец уж клянёт себя, что не кинул: давай в голос звать. А они опять на виду: груди торчком, коленки играют. «Брось платок! Брось сарафан!»

Он и кинет. Горит человек – что поделывать? На одной вещи не остановится. А они подхватывают – и пропали. А он всё надеется улестить... Вот так повыманят приданое.

Но чтобы купец хоть какой раз получил за свой товар – не бывало! Какие ни нахалки, но тут казачки строги. Забава есть забава, но продажность в старину не допускалась в наших местах. Побежит купец вдогон – в травах его парни переймут: «Ты что, хрячина некладеный?!» Стерegli своих казачек.

Бухарцы страшно обижались, что ругают хрячиной. Жаловались начальству: у вас, мол, ездить нельзя, такие оскорбления терпишь от молодых казаков. «Мы свинину не выносим на дух! А казачки – барышни красивые, хорошие...» И ни слова не скажут про озорство. Всё-таки хотелось купцам, чтобы им девки показывались.

Но, конечно, такое озорство шло не отовсюду, а только с хутора Персики. Вот где снесли деревню Мулановку, там был в старину казачий хутор. Кто-то говорил, что его называли по прелестям девок. Но вряд ли. Тогда всё выражали гораздо проще.

Выражали грубо, но чего стесняться, если особая красота казачек была: выпуклый зад... Как киргизские кобылы огневые, норовистые, так и те девки были. Умели заиграть хоть кого. Закружат голову и разорят. А вон в станице Донгузской жили казаки-староверы – там ничего подобного. Суровость!

В Персиках веселье было от смешанности. Казаки много женились на калмычках. Около жили башкиры, они делали набеги на Калмыкию, приводили девушек. Те сбегали к казакам, окрестятся и замуж. Так же и красивых башкирок, если замужем за стариком, казаки сманивали. Потому даже русских было мало на хуторе, а светлой – и подавно не найдёшь. Народ чернявый.

Среди него выделялась Наташка: вон как среди грачей чайка. За такую красоту лучше б сразу куда упрятать – чтоб без убийств. Белокурая; коса вот такой толщины! Жила с матерью, та пьющая. У Наташки был Аверьян, но его родители ни в какую, чтобы он на ней женился: голь-голая. А красота – чего на неё глядеть? Наташка собирала себе приданое, дразня бухарцев, но мать всё пропивала.

А за хутором, на берегу реки Салмыш, жил старый персиянин. Для его дома возили отборную сосну из Бузулукского бора, за триста пятьдесят вёрст. Богач был. За какие-то заслуги наградило его царское правительство большими деньгами, и он почему-то угнездился у нас. Начальство его почитало, казаки относились с приглядкой. Уж такой приветливый; говорит как гладит, да медком подмазывает. Непонятный! Кто его знает: что он да как?!

Вот по его детям, видать-то, и назвался хутор. Персики: то есть персиянина приплод, малые персы. Старый-старый, жил тихо, а после вдруг наплодил.

Как вышло? Сперва он углядел Наташу на горячем песочке у Салмыша. Над берегом откос, вот с откоса он затрагивает её: «Подымись ко мне в тень дерева, Наташа! Солнышко попечёт». Тут Аверьян выходит на песок из кустов. У них с Наташкой только что была сердечность. Персиянин как ни в чём: «А, и ты, Аверьяш! как хорошо! Подымитесь для обсуждения».

Взошли; он объясняет. Будет он красить в доме полы, и вот что. Если Наташка и Аверьян – так, как их мать родила, – исхитрятся по свежей краске до его спальни дойти и не попачкаться, на постели побыть и тем же путём обратно, он такое приданое даст! Ни у одной девки на хуторе не было!

Аверьян так бы его и зарезал. А персиянин посмеивается: «Я её не коснусь. Вдвоём будете. Идите в обнимку. Хочешь, на руках её неси, не выпускай. Всё останется скрытым: заплот у меня вон какой высокий, без единой щёлки».

Аверьян: «Ты иди к мужичью сули, а я – казак! Мы на всякое такое не продажны».

Персиянин: «Ты характер показываешь потому, что соображения не можешь показать. Как по свежей краске пройти сени, коридор, залу и спальню до середины и не попачкаться?»

Аверьян стал задумываться. Персиянин говорит: «Если попачкаетесь, деньги всё равно дам. Ничего страшного. Только буду иной раз про себя напоминать. Но это безвредно. Может, и к удовольствию». Глядит на Наташку: что скажет? А она: «Я б согласилась, но только, мне кажется, вы будете подсматривать». Аверьян говорит: «Да! мы не согласны!»

Но Наташка тут: «Тебе-то что?! Погуляешь – другую возьмёшь, с приданым! А мне как?» Начинает рыдать. Персиянин успокаивает: зря, мол, Аверьян, так. Всё честно. Тот говорит: сколько денег-то? «Три с половиной тыщи рублей!» Тогда были огромные деньги. Аверьян чуть не присвистнул. А Наташка так его прямо за руку. А персиянин такой с ними обходительный.

Аверьян спрашивает: «Будешь подглядывать?» – «Врать не хочу. Может, с саду подойду к окошку, из-за занавески гляну. Но вам это нисколько не заметно; значит, вы про то ничего не знаете. Не интересуйтесь!»

Ладно – Аверьян с Наташкой уходят думать. Он даже отправляется в баню, чтобы паром себя прояснить. Тут и мысль ему: мыло! к мыльной руке сажа-то не липнет.

Идут к персиянину: согласны. Утречко раннее, в саду у персиянина птички поют. Заплот кругом в два человеческих роста. Дорожка к крыльцу речной галечкой посыпана. Никого нет. Персиянин один. Выходит из пристройки: я, говорит, жду, жду... Двери дома настежь; крыльцо, сени и сколько внутрь видно – всё покрашено тёмно-красной краской. Вот как уголь притухает: такой цвет. Прямо рдеют полы.

С собой принесены таз и мыло. Просят персиянина удалиться. Разнагишались, ноги намылили и лёгоньким шажком... Скользко ужасно, но оба ловкие – чего! Таз и мыло несут. А постель разубрана! Как обрадовались, что дошли и краски ни полпятнышка ни на ком. Свадьбу уж видят. Сколько они её ждали – тянет, конечно, друг к дружке.

Ну, дали жизни!.. Пупки сплотили, избёнка гостя приняла, гость видного чина – в четверть аршина. Запер дых – разудал жар-пых. Загонял месяц звёздочку, сладка курочке жёрдочка. Оба сгорают совсем. Наташка крики испускает. Оголовок прущий, вытеплай пуще! Персиянин за окном стоял, истоптал каменную плиту. Туфли на нём мягкие, а следы остались.

Эта плита есть и сейчас. Когда Тухачевский в Гражданскую войну казаков повывел и стала на месте хутора Персики деревня Мулановка, эту плиту с глубокими следами мягких персидских туфель сволокли к Салмышу. Бабы на неё клали сполоснутое бельё.

Ну, а тогда Аверьян с Наташкой нарезвились на персиянской перине! Играли, как котята. Выкидывали коленца. Тыквища белобокие то перину мнут, то на Аверьяна прут. Звёздочка от скока прожарена глубоко. Ясный месяц-месячок далеко кидает сок.

Уморится гость в избёнку встречать, приклонит головку, а Наташка белой ручкой берёт и водит его по приветливой, по радостной туда-сюда. «Гони, миленький, лень, коли хочет при-

ветень!» Да... Звезда около – гляди соколом! Он и взбодрится. Шапка лилова – молодчиком снова.

Ладно – кончили баловство, опять ноги намылили и остороженько вышли. Только успели накинуть на себя одежду – персиянин. Они ему: гляди ноги. Ни на одном ноготке краски твоей нет!

Посмеивается. Отсчитал три с половиной тыщи ассигнациями. Аверьян скинул рубаху, завернули в неё пачки денег. А время уж к полудню. И как хорошо-то всё вокруг, красиво! С радости куда? На сеновал за Наташкиным конопляником. Казацкая молодёжь горячая.

Наташка говорит: «Аверюшка, а я не знала, сладенький, какой ты у меня ещё и умненький!» А он: «Я боялся, ты поскользнёшься, но ты на скользком крепка!» И так они друг дружку хвалят, на сене милуются. Он ей косу расплетает, а она: «Аверюшка, как мы его! Ой, обхохочусь вусмерть!»

Вдруг: что такое? И оба заморгали. У него на пальцах – красное, липкое. Ах, мать честная! На конце косы – краска. Наташкина коса-то белокурая ниже колен длиной. Когда на постели кувыркали друг дружку, коса летала себе туда-сюда и мазнула по полу.

Веселье с них как рукой кто смахнул. Аверьян успокаивает: не бойся, ничего не будет! Деньги – вон; целы. Воды нагреть да с щёлоком – всё смоет! Сколько тут краски?! А Наташка глядит по-другому: «Аверька, ты невер! А я чувствую...»

«Да чего это ты чувствуешь?»

«Что приходит, то я и чувствую!»

Аверьян вгорячах: и не надо, мол, воду греть. Пока греть – ты в болезнь умаешься со своим страхом и чувством. Взять овечьи ножницы, отрезать конец косы! Наташка как зыркнет на него: «Нет, нам не отвязаться...» Он смотрит: ну, меняется девка! Нехорошо у неё в глазах.

Всё-таки сходили за ножницами, отмахнули у косы замаранный конец. Наташка требует: это надо сбыть персиянину. Отнести тишком, закинуть ему через заплот... Пошли задами, по назьмам, чтобы не привлекать любопытства. День за середину, жар палит. Аверьян так бы и потряс за грудь персиянина.

Наташка под ноги показывает: «Гляди, трава сабина. Пожуй – томно не будет».

Аверьян на неё: «Она же отрав!» А Наташка: «Чего нам теперь отрав-то? Попробуй маненько». Тут слепого дождя пролило. Аверьяна взяла какая-то слабость. Наташка его приклоняет: он мокрые листья пососал, стебли. Забылся.

Очухался у персиянина под заплотом. Наташки нет. Но птичек кругом – стаи. Щебечут, скачут; всем хорошо, Аверьяну – непонятно! Обежал усадьбу: в заплоте нигде ни щёлочки. Ну, изловчился – перелез.

Окно дома в сад открыто. Узнаёт Наташкин смех. Заглянул: Наташка – ни лопушка на ней – с персиянином на кровати. Но полы не красные, а тёмно-синие. Такого цвета бывал раньше бархат. А нахальство творится! Наташка прилегла на персиянина, кончиком косы щекочет ему под носом. Тот её похлопывает, поглаживает по заду, по спелым тыквам белобок; а пальцы-то в перстнях, камушки – цены нет.

Запрыгнул в окно. Девушка визжать. Персиянин скатил её на постель, подходит. Он только до пояса раздетый, на поясе кинжал: рукоятка сама на Аверьяна глядит.

Персиянин говорит: «Ты, пожалуйста, не злись! – показывает на свою бородёнку, на усы. – Видишь, какие седые. Я ей ничего плохого не сделаю. Вас обоих ещё не было на этом свете, а она мне уже снилась вот такая – белокурая барышня, коса толстая, талия тонкая и большой, очень белый зад. Тугой, крепкий, очень хороший! У нас в Персии если мужчина такое увидит и не получит – умрёт! А если получит, то так любит – тоже умрёт».

Прямо перед Аверьяном стоит, объясняет. Рукоятка кинжала сама в руку просится. «Ну так умри!» – Аверьян кинжал хап! И тут ему вроде какой голос велит: «Не коли! Не коли –

брось!» А персиянин не шелохнулся, посмеивается. Аверьян ему под нижнее ребро и ткнул кинжалом.

И тут как гроханёт! Огонь, гром. Как огненный горох посыпался. И – темно. Очнулся в траве сабине, у которой давеча листья сосал. Наташка толкает в плечо, за волосы треплет: «Ты чего заснул, как пьяный некрут! К твоим отцу-матери пора идти – деньги показать».

Он её за ноги: «Я тебе другое покажу! Персиянин твой не поможет!» Она очень легко вырвалась – такая в ней сила. Дурак ты, говорит, вон гляди... А дом персиянина так и полыхает. И никто тушить не бежит. К персиянину шли с Наташкой днём, а теперь уж темно. Аверьян оглядывается кругом и ничего не поймёт. Одни сомнения. А пожар какой! Что сделалось-то?

А Наташка: да мне, чай, не всё равно? У тебя есть интерес жениться – так идём. А он стоит, не знает, как всё понять. Впору опять в траву лечь. Тут ветром дунуло – принесло уголёк. Упал под ноги, соломинку пережёг. Наташка кричит: «Ой, ожглась! Бежим скорей!» Сама отстала, половинки от соломинки подняла. Он это заметил, но не смог ничего сказать. Растерялся человек.

Вот его мать с отцом увидели пачки денег, три с половиной тыщи ассигнациями: женись! Сразу Наташка стала хорошая. И красоту вспомнили. Такой, мол, красавицы во всей местности нету!

А пожар следствие разобрало: трупы нет. Значит, хозяин уехал, а дом сам поджёг. По каким-таким мыслям – начальство будет дальше разбирать. Может, дело государственное... Конечно, было подозрение на Аверьяна: что он персиянина ограбил и куда-то задевал. Откуда вдруг у Наташки такие деньги?

Но какой-то бухарский купец богатый обратился к войсковому атаману. Я, мол, через хутор Персики езжу, барышня Наташа мне понравилась. Я дал ей приданое... Особо никто не удивился. Бывало, эти бухарцы из-за девок на тыщи рублей раскидывали товаров с воза.

Ну, после яблочного¹ поста – свадьба. Баранов жарят. Гостей собралось несметно: такое приданое огромное. Наташку наряжают. И тут сообщение – мимо хутора будет проходить войско. Возвращается из Персии с войны. Везут тяжело раненного генерала. У него последнее желание: если где поблизости свадьба, чтобы невеста к нему подросла, вложила пальцы в его раны.

Аверьян против. Пусть, мол, по другим хуторам проедут – сейчас свадьбы кругом... Но от генерала опять скачут. Ему, оказывается, уже рассказали, какая невеста, и он хочет, чтобы именно Наташу ему привезли. Аверьян не соглашается. А посыльные казакам говорят: генерал даёт хутору десять тыщ рублей. Лишь бы только Наташка явилась к умирающему в шатёр. И за то вам – десять тыщ!

Этих денег как раз хватит, чтобы купить за Салмышом луга у башкир. У казаков стадо было огромное, а сколько овец! А табуны коней! Луга очень нужны. Ну, Аверьяна прижали. А ты, мол, как, Наташа: облегчишь гибнущему генералу мученья? Наташка: я, чай, не каменная!

Приезжают в стан. От шатра всех отвели на сорок шагов, Наташка одна входит. Аверьян стоит, злится. Так ему это всё не нравится! А из шатра вроде как смех. Казаков отпихнул и бегом в шатёр.

Там тёмненько. Но разглядел впотьмах, что Наташка с голыми грудями прилегла на генерала, и обоим весело. Аверьяну не дали кинуться, руки крутят ему, а генерал просит: «Ты, пожалуйста, не злись. Подойди глянь, какая рана у меня под ребром. Но я за неё ничего плохого не делаю».

Аверьян: а... Так и знал!

«А чего она не пальцы влагает?» Генерал поясняет: «Это говорится – пальцы. А влагаются в раны сосцы, дающие жизнь. Имел бы такие ранения, понимал бы про сосцы. Тугие, спелые.

¹ Успенский пост с 14(1) августа по 27(14) августа. В пост едят яблоки (Прим. автора).

Каждая девушка это чувствует и, если жалостливая, никогда палец в рану не тыкнет. Дай мне получить жалость для последних дней жизни».

Аверьяна вывели, а он беснуется. На невесте – бесчестье! Казаки: что? какое бесчестье? Человек с войны, лежа лежат... Молодой ты, а уж без стыда. Поедем завтра луга покупать – успокоишься.

Но он на своём: «На мне поругание из-за вас! Обида не даёт стерпеть!» Казаки тогда: ну, чтоб обида дала, сейчас обсудим. Значит, Аверья говорит, он потерпел ущерб, что Наташка лечила генералу раны. А у нас Фенечка кучерявая сколько мужа с войны-то ждёт? Шестнадцати годов вышла и пятый уже ждёт. Сердце-то уж – рана. Ходи, Аверья, к Фенечке – лечи рану. На общество не обижайся.

А Фенечка – такая завлекательная казачка! Всем возьмёт, как и Наташка.

Только что волос чёрный, и смуглая; ноги тоже волосом поросшие кучерявеньким. Такие-то бабы непросты – особенно с мужским полом. Гладкая кобылка, скакунчик.

Ладно – уговорился Аверьян с господами казаками. Но идёт к знахарке. На хуторе жила старуха-чувашка; слова знала, травы. Колдунья. Аверьян к ней с подарком, с денежкой – и рассказал всё-всё; как опутал их персиянин и как дальше было... Генерал-то – это он. Что ещё учудит?

Старуха ведёт в подызбицу. Пошептала в углы, козьим помётом посорила; берёт из клетки крысу. Завязала ей лапки, кладёт перед котом. Кот старый, головастый такой. Походил вокруг крысы, помочился на неё. Есть не стал. Пометил. Старуха берёт ручного скворца, в другую руку крысу – и в погреб. Покричала там: вроде будила кого и выспрашивала.

Вылазит: руки в крови, пёрышки налипли. Держит жабу. Посадила на то место, где лежала крыса. Жаба сидит. Старуха ей кричит: «Ертэн! Ертэн! Дай сказать – не сердись!» И рассказывает. Персиянин – колдун огромной силы. Но другие колдуны сговорились и всё ж таки с ним совладали. Силу его завязали, а съесть не смогли. Прогнали его. Он в наших местах и угнезвился.

А Наташка с Аверьяном его развязали. «Он вам свой хитрость, вы ему свой хитрость – связался узел один! Ой, плохо!» – Старуха объясняет: как Аверьян удумал хитрость с мылом-то, тем и привязался к путам, какими был завязан колдун. А как Наташкину косу ножницами овечьими резанули, узел и перерезали – и путы спали с колдуна.

«Ой, Аверья, трудно будет! Очень хочет он Наташка твой!»

Велит почаще с Наташкой в бане париться, обкладывать её на банном полке пареным сеном. Будет от нетерпенья Аверьяна почаще знать, а о том, глядишь, думать некогда.

А по хутору уже разносится: показывается персиянин и в сумерки, и перед рассветом. Сманивает девок. Гуляют девки с парнями – вдруг из дикого малинника, из-за стогов как запоёт кто-то. Голос чистый до чего, приятный. Так и заволнует. Глядь: одна девка побегла в дикий малинник или за стога, другая... Вот тогда и пошли дети-то персиянина: персики самые.

Родители уж не больно стали девок от парней беречь. Для персиянина, что ль? «Ладно – уж гуляй попоздней, только на поющий голос не ходи!»

Аверьян ходил ночами: может, услышит голос? Встречи ему охота. Живут с Наташкой, в бане часто парятся, он её пареным сеном обкладывает, она с ним ладит – но в душу не допускает. Отвлечена! За любовь не похвалит, за ласку-то; не возьмёт теплюшу ручкой – по сосцам поводить, посластить их. Ну, он к Фенечке. А уж та к нему ластится! На кровать олады с мёдом подаёт; только что молоком не умывает. Но томно ему. Уверен, что исхитряется Наташка погуливать с персиянином.

Приходит опять к колдунье. Она его заставила возле козла посидеть, чтоб козлиным духом голову прочистило. Велит почаще у Фенечки бывать. Он объясняет: когда, мол, я у Фенечки, то вдруг чую – вся птица и весь скот на хуторе как взволнуются! «Поветрие какое-то идёт, в дрожь бросает. И кажется, Наташка уже в том сарае своём за конопляником, где

мы ей косу резали. В сарае с ним! Как бы сделать, чтобы она от него ко мне бегом прибегла? Чтoб стала его презирать, чтобы плюнула на него, а ко мне бы стремилась? Как мне его силу себе забрать?»

Старуха говорит: «Ой-ой, как трудно будет! Не боишься?» – «Ничего не боюсь! Надо – жилы из меня тяни!» – «Зачем жилы? Деньги большие возьму». – И приносит травяной настой.

Аверьян деньги даёт, не жалеет, а она ему: как, мол, снова накатит, ты попроси Фенечку не мешать и – в чём был – на лавку сядь. Выпей из этой бутылочки глоток, надень на голову ведро, сиди. Наташка будет к тебе вызвана. Сначала-де почувешь её не в телесном виде. А после и сама, настоящая, прибежит. Гляди только, чтобы тогда с Фенечкой не поубивали друг дружку.

Ладно – теперь он к Фенечке за двумя делами идёт. Бутылка с собой старухина. Прежде чем любить, он её на поставец у кровати поставил.

Вот за полночь. И вроде как птица и скотина со всего хутора на волю вышли. Кажется ему: бегут, летят к сараю Наташкиной матери. А может, то девки, бабы обернулись? К персиянину на гулянку-то невтерпёж. Вскочил с кровати, хочет из бутылки глотнуть, а Фенечка ему стаканчик: «Налей сюда. Там уж сладкая наливочка – от моей бабушки хранится. Хорошо подкрепит тебя. А я уйду на печку, не помешаю».

«Хорошая ты! Уж, пожалуйста, не мешай».

Выпил старухиногo настою с наливкой Фенечки: его повело всего, закружило. До лавки чуть дошёл нагишом-то, ведро с головы раза три ронял.

Ну, сидит, а самого разбирает. Так палит всего! Ведро на голову надето, а Наташку отчётливо видит. Сперва, правда, только лицо. То злое было, отворачивалось, кому-то другому глазами этак делало... а тут оборачивается к нему. Губы раскатались, ноздри от нетерпенья так воздух и тянут, а глаза – во! – как у кошки! И тело проявилось. Уж ему Наташкиного тела не знать. Где надо, толсто – а как кругло! а талия тонка! И всё ходит ходуном. Сосцы – точно рожки у козочки.

Колышется телом и к нему. На колени к нему. Как проймёт их обоих дрожь! Ах, мать честная, – затрясло, заёрзалось. Забыла персиянина. Презирает! Пощипливает Аверьяна, льнёт, обнимает, голосу волю дала.

А уж он-то! Уж так её на коленях улащает. Запрёт кутак-задвигун избёнку и отопрёт тут же, и опять, и опять – разудала статью! Избёнка качнётся, сама на гостя наезжает, берёт к себе. Заходи, теплюша, вкусного покушай! Тесно ему, стенки гнутся, да не треснут. Аверьян, голова в ведре, уж как за гостенька рад! Хозяюшку избёнки холит на руках: ёрзай раскатисто, на кутак ухватиста. Рукам – приятность, гостю – вкуснота, рту – маета: расстегайчик налимий мнитса. Не ведро – укусил бы.

Ну, перебыли они. Скинул ведро, а с ним – Фенечка. Прижалась, сидит в обхват.

«Что такое – так тебя растак... разъядри твою малину!»

«Да ты ж меня звал!» – «Тебя?» – «Вот мне помереть, вот так сидючи! Так звал, молил – не совладала с собой. Жалко!»

А он невесёлый! А она: «Уж нам ли, Аверюшка, не хорошо?» – «Хорошо, да им-то хорошее! Не стерплю, чтобы чья-то сила лучше моей была!»

Накинул на себя одёжку и бегом к тому сараю – Наташкиной матери. Вбегает, а оттуда птичья буря на него. Крыльями лупят, когтями ранят: вымётываются в двери. Гомон – ужас. Кое-как отбилса, глядит, а в сарае только какой-то гусак и гусыня остались. В сене порылса – никого.

Приходит домой, а Наташка сонная, злая. «Гуляешь, – сквозь зубы цедит, – сволочь! От тебя бабой разит – уйди от меня!» А чего он ей скажет? Но к утру опять ей не верит.

Идёт к колдунье. Рассказал всё, просит: «Давай доведём до конца. Как снова накатит, надо, чтобы она была от него ко мне вызвана. Был бы он по природе меня сильней и лучше, а то – благодаря колдовству, мошенству. Не выношу, чтобы его сила над моей была!»

Старуха: «Будет больших денег стоить».

«На, бери!»

Она дополнительно над бутылкой с настоем пошептала и даёт ему шапочку сурчиного меха. Шёрстка шелковистая наружу. Чтоб, поучает, не мешали, – запришь в бане. Выпей настоя глоток, глаза махоткой завяжи, шапочку положи посреди бани. Сиди, жди жара. После иди: ищи по бане руками. Шапочка, мол, встретится на уровне твоего пупа, а под шапочкой будет сидеть Наташка.

Ну что... Вот опять он у Фенечки. Только за полночь – взволновало его. Вроде снова птица, скотина летит, бежит к тому сараю. Вскрикивает с кровати, а Фенечка как знает: «Идём, миленький, в баню – с вечера не остыла ещё. Запрёшься и делай, чего тебе охота».

Ведёт в баню, у него бутылка в руке. В бане ему стаканчик: «Налей сюда. Там уж капли весёлые – от моей бабушки хранятся. Хорошо желаться будет тебе». Выпил настоем с каплями – его и закачало. А Фенечка махотку смочила, завязала ему глаза поплотней. «Ухожу я, не помешаю. Запирайся!» Довела до двери его.

Накинул крючок, из предбанника-то наощупки еле-еле в баню вернулся, положил шапочку на пол. Ноги не стоят. Нашупал лавку, ждёт сидит... жар по всем жилам потёк. И вроде как Наташкина спина проявилась... ноги... А лицом всё не оборачивается. Его так и подмывает кинуться. «Ты, – шепчет, – шапочку надень! Шапочку...»

И к ней – хочет Наташку за плечи взять. Ничего нет. Ниже руки – ничего. А как на уровень своего пупа снизил, наткнулся на голое. «Шапочка где? Шёрстка шелковистая?!» – ищет её голову, а она её прячет: клонит, клонит... этак перегнулась пополам. Он на ощупь-то к её голове тянется до полу – чуть не упал; опёрся на милую. И тут шапочка под руками. Ищет под шапкой роток, охочий зевок. Нашёл – его словно током как шибанёт! Аж зарычал. Сомкнулись – у обоих заперло дых.

Кинуло в толканье-то. Таковую силу свою почувствовал. Ну, персиянин, плевать на тебя! Сама радость наяривает. Не вмещает избёнка гостя, хозяйка в крик: «Ох, ты, родина-отчизна! Укатала туговизна!» Гость избёнку так-сяк, наперекосяк, а ей удовольствие. Как ни тут наверху-ник у палицы – ничего приветени не станется! Запирай, кутак, потуже – не такого гостя сдюжу!

Сделалось; махотку сорвал – Фенечка. Распрямилась, к нему обернулась, носиком, губёшками об грудь трётся: «Уж как меня звал, молил! Дверь отпер, кричишь – бегом прибегла. Боялась, застудишься... Уж нам ли не хорошо?»

А она его в предбаннике давеча к окошку подвела: это он ставень на крючок запер.

«Хорошо! Это тебе пока хорошо, – рычит, – когда он тебя ещё не повлёт! А то тоже к нему бегала б, небось. Не-е, доколь я в этом деле не пересилю, не будет мне хорошего!»

Бежит к тому сараю. Уж так ему кажется: они там. А оттуда – козы, овцы. Свалили с ног, по нему бегут. Сколько их пробегло! Кое-как поднялся. А в сарае барашек и овечка остались. Всё сено перерыл – никого нет.

А Наташка дома зла! И горячая вся, как со сна: никуда вроде не выходила. Костерит его: «Сволочь! И правда гулять буду. С начальством буду!..» Но к утру у него опять к ней веры нет.

Денег не так-то уж и осталось, но берёт двести пятьдесят рублей и к старухе. Рассказывает – убивается перед ней. Ну скажи ты – как дело срывается! «Что хочешь, но устрой мне преимущество у него отнять».

Старуха повела его в омшаник, мёртвых пчёл на голову сыпала, пошептала всяко. После чем-то пахучим побрызгала на него – опять с приговоркой. И даёт верёвочку: на один конец воск налеплен, другой завязан петелькой. «Через твою боль, – старуха говорит, – будем действовать. Стерпишь?» – «Стерплю!»

Ну вот, опять, мол, надо запереться в бане. Восковой конец верёвочки к стенке прилепить: петелька пусть свешивается. Глоток настоем выпить, глаза завязать и на лавку сесть, но – высунув язык. Как Наташка в баню призовётся, она наперво – верёвочку искать. Найдёт,

петельку тебе на язык накинёт, туго затянет и ну тянуть! Терпи из всей мочи. Кажется, уж язык перерезан, оторвётся: всё одно – выноси боль. Намучает-де тебя, намучает: стерпишь до конца – и уж тут она твоя совсем. Плевать на персиянина захочет, смех над ним.

Ладно – но, придя к Фенечке, прилаживает в бане засов. Вот полночь проходит, и снова этак сильно взволновало его. Всё то же кажется. То ли вправду вся птица, скотина с ума посходила, несётся к сараю тому. То ли девки с бабами обернулись для озорства с персиянином.

У Фенечки и в этот раз баня в аккурат вечером истоплена. Верёвочку к стене прилепил, говорит: «Ты, Фенечка, пожалуйста, не обижайся, но из твоего стакашка пить не буду». – «Как тебе хочется, миленький. Но как выпьешь – вот эту изюминку в рот положи. Если будет трудность, лёгонькой покажется».

Сам Фенечку из бани выпустил, на засов заперся. Волнуется – стеснение в груди. Всё скинул с себя, а не легче. Глотнул из бутылки, изюминку в рот; завязал глаза, сидит – язык высунут. И тут этак-то приятно запело в ушах; жар, зудик по телу. И такая накатила охота – ну, страсть!

Вроде шорох вблизи... ага! Наташка вертуном вертится, дразнит. Верёвочку от стены отлепила, петелькой перед пупом своим помахивает. И приспускает, приспускает. Раз – и накинула! Он думает: «Это только кажется, что не на язык, а накинула-то на язык...» Но нет петельки на языке. Ну, думает, мать честная, эх, и боль будет сейчас!

А она на верёвочке и повела за собой. Поводила по бане, поводила – и давай мучить. Схватить её, подломить – а, нет! «Не обжулишь», – думает. Мычит, стонет, а руки за спиной удерживает. «Вот она, боль-то какая имелась в виду – но стерплю до конца, сам не прикоснусь. Вправду будешь моя совсем. Наплюёшь на персиянина».

И наступала же она на него, напирала! Петельку распустила, льнёт; ухватистость плотна, наделась звёздочка месяцу на рог. Аверьян тыквушки ладонями приглубил, поддерживает; они откачнутся да наедут елком на оглобелку – размахались! Разгон чаще – патока слаще. Этак тешатся-стоят, гололобого доят. Гость из избёнки – избёнка за ним, он в обратную – стенки гнёт.

От гостеприимства Аверьян рыком рычит, а уж она!.. Коровы размычались в хлеву, думают: быка в бане душат, что ли? Но вот смешочки пошли. Над персиянином смеётся! А как же, мол, до конца протерпел – не докоснулся до неё пальцем, пока сама не посадила курочку на сук. Справилось колдовство. Как кончилось хорошо!

Развязал глаза – что ты будешь делать? Фенечка. Взяла в кольцо, на носке стоит. Он давеча дверь на засов запер, а ставень – нет. Она в предбанник и влезь... «Уж как ты меня кричал! Ровно как ребёнка волк схватил и несёт. Сердце кровушкой залилось. Как не прийти?»

Он её обзывать. Столько, мол, денег переплатил, а всё ты! всё ты! Как будто мы и так не можем. Бегаю дураком! Хорошо, те гусыня с гусём, овца с барашком смеяться не могут... Ой! Его и осени! «А-а, пень-распупень, непечёна печень! Наташка это с ним – гусыня с гусём, овечка с барашком! Они! Они...»

И в избу. Хвать нож и к тому сараю. Подбегает, а от сарая – тени, тени гуртом. Заглянул: пусто. И в сене никого не находит. А за стеной есть кто-то; озорство, причмоки. Наташкин голос узнаёт.

Крадкой из сарая и вокруг, вокруг; в руке – ножик. А там, за сараем-то, – лосиха и лось. Она то голову ему на загорбок кладёт, то носом в шею ткнётся. А он боком потирается об неё. Громадный лось, рога – во такие!

Аверьян притих под стенкой. Было б ружьё... Или хотя б нож длинный, а этот, в руке: свинью не заколешь, только баранов резать. Да и то правда – и ружьё не годно против колдовства. Не в оружии дело тут. «Ишь, – думает, – чем берёт! Был бы ты по природе сильный, как лось, а то... Не стерплю!»

И не может окоротить себя. Такой характер. «Я тебя, старика старого, пырнул, а лося – конечно, побоюсь? Не-е, убей, а в этой силе лучше меня не будь! Может, я её и не отниму, но попытаюсь».

Выкрался из-за сарая, прыг – и ножом ему под заднюю ляжку, в пах. Так по рукоять и засадил. Как лось лягнёт! Гром с пламенем; голова, кажется, раскололась, как склянка. На воздух подняло его, и послышалось: «Получи за упорство! Уважаю».

Опомнился в избе у Фенечки. А над ним-то – Фенечка и Наташка. Ухмыляются и друг с дружкой этакие приветливые. Как понять? «Утро, – говорят, – просыпайся, миленький, просыпайся, хорошенький!..» И сметану ему, и баранину с чесноком. Двух кур с ним съели, рыбник с сазаном. Казаки жили богато. Всё было. Телячьи мозги, пряженные с луком, подают. Пируют пир: хихоньки да хаханьки. И – играть-веселиться.

А силища распирает его. Ходит изба ходуном. Дых переведут, перемигнутся – и опять дразнить его. То пляска, а то глаза завяжут ему, с колокольчиком бегают – в жмурки играют.

Но вот охота ему выйти, а не пускают: «Что ты? Нельзя тебе, миленький... справь нужду в ушат». Не поймёт он такого угождения. А они отвлекают на озорство, он и отдаётся. Чует только – на голове что-то мешает.

На другой лишь день догадался у Фенечки зеркальце стащить и поглядеть на себя. Ах ты, уха-а из уха: голова наподобие лосиной! И рога, и загорбок, и шерсть. Сперва-то на радостях да с бабьей вознёй взгляд на себя был замутнённый: и шерсти даже не замечал. А тут вот она – по всему телу, особенно по спине. Но тело в основном прежнее, человечье. Ступня интересная: пятка человечья, а вместо пальцев – копыто раздвоенное.

Ну, конечно, нельзя стало ему на хуторе быть. Ушёл в Нетулкаевский лес: он тогда рос почти что до наших мест. Наташка с Фенечкой ходили к нему.

После и другие бабы стали, за ними – девки. И сам он набегает из леса. Начнёт на поле с кем озоровать – наутро стога раскиданы стоят.

Или перед зарёй станет купаться в Салмыше. Рыбаки думают: кто-то свой. «Не пугай рыбу, мужик!» А из воды вот этакая башка с рогами – ноги и отнимутся.

А то в шалаше пастушьем заснёт. Пастух туда нырк: и – ай, сваты-светы! разопри тебя дрожжи! На неделю онемееет. Чудо так чудо. Так и стали звать: Лосёвый Чудь.

В сарае тоже, бывало, подкараулит. Скотина его принимает, тихая при нём. Баба туда без подозренья, а он нахрапом сзади. Она, бедненькая, взвизгнет – во дворе услышат: а-а, хрюшка визжит... Выйдет с плачем: «Чего на помощь не прибегли? в двух шагах от вас чего делалось... неуж не слыхали?» Домашние сокрушаются: «Нет!» Переглянутся: видать-де, была тебе примета, да ты пропустила. Ой, смотреть надо!

Отчего у нас бабы и особенно девки так завязывают волосы косынкой, когда красят чего-нибудь? Попадёт на волосы чуть краски – не миновать Лосёвого Чудя. В глаза ей глянь, так и видно: будет у неё с ним свидание.

Одни завязывают, другие озоруют. И волосы выпустят, и брызжутся нарочно краской.

Отчего в нашей местности народ пошёл горбоносый? Особенно и очень высокий? От него. И травы высокой давно нет, и живности, и рыбы нет, и птицы, вон глянь, не слыхать, мелиорация кругом, земля уделана, где тебе дикая малина? И речки стали как корова заплакала, деревни покинуты, а он есть. Ещё и недавно видали его.

Зоя Незнаниха

Озеро около нас прозвано Горькое, зато дела промеж мужиков и баб очень сладкие. Возьмутся бабы олады печь, когда первые комары полетят: знать, лето будет злое на приятную страсть. И мужиков-подстарков разберёт охочесть, начнут на озорной гульбе с молодницами старичков резвить.

А коли пропустят бабы без оладий первого комара, их самих испалит любовь. Не жизнь, а горечь – без молодого тела-то мужицкого. У всякого юноши ноги разуют, а посошок-оголовок обуют.

Лесом на Щучье пойдёшь и дале, на Каясан, – там повсюду народ задумчивый. Каждый третий мужик – крещёный татарин. Нового человека на интересном гулянье накормят, хоть лопни, а голым допустить до голой бабьей красоты – подумают. Долго будут на тебя глядеть-думать, каков ты сердцем-то на любовь. Можешь ты чего весёлого из сердца дать или только запускаешь по голым титькам щупарика?

А не доходя Щучьего, по всему нашему краю, народ тебя знать не знает, а поведёт в озеро с мылом мыть. Вроде как ты пастушок Иван, от лесного духа пьян. Одна девушка, моет тебя, – овечка. Другая – козочка. Третья – телушка. От их ладошек звонких тела своего голого не узнаешь. Этак соком полнится, играет. А легко-то! Ну, птичка кулик! Стрелка поднялась, показывает полдень.

Девушка-овечка за стрелку берётся, промеж костров водит хозяина. Приговаривает: «Пастух Иван боле не пьян, посошок оловян!» Просит: «Обереги меня, овечку, от дикого зверя. А я стану твой посох беречь. Быть посошку оловянну в кузовке берестяном!» Ты рад припасть на голый пузень, а она вывернется из-под тебя в момент: «Ой-ой! Пьян пастух, на ногах не стоит, не уберёжёт от дикого зверя!»

Тут девушка-козочка за стрелку берётся. Уж как она полдень-то кажет, стрелка тупорыленькая, как кажет! Ту же приговорку тебе – голая девушка, коза. И так же и ускользнёт. Потом – телушка проделает... Вроде хорошо стоишь в круге промеж костров: и тепло в круге-то, комары не донимают – а донят-доведён до мученья.

Тело от здоровья так и дышит, соком переполнилось, словно сладенька берёза: от любой хвори отпоит и бабу, и девоньку. Лёгонько тело – ну, птичка синица! Однако ж, оставлено при своём интересе.

А из-за костров – смехунцы-хиханцы. Только ты сердиться, а они и набегу враз. Хвать крепко тебя: девушка-овечка, козочка, телушка. «Стой на ногах, прямо стой, пьяный пастух! Не уберечь тебе нас от дикой зверинки, так ей отдадим тебя. Тебя поест – от нас отстанет».

И прыгает в круг девушка-волчица. Тело нагое посверкивает, глаза жадные так и палят.

«Не умел посошок оловянный утаить в кузовок берестяный – отъем я его тебе!» И пробует посошок ноготками. А ты стоишь прямо – крепко-накрепко держат тебя.

«Зверинка дика – роток без крика». Встала на цыпки и роток, который без крика, надвигает на посошок, надвигает. А ты твёрдо стой; шатнёшься – поддержат. Она тебя, ровно дерево, коленками обхватила, надела на стоячий, в уши порывивает.

«Ох, сладенький пастушок! Ох, доем! Был оловянный – будет мякиш пеклеванный!» А ты ей в лад порывиваешь. Поталкиваетесь ладком. Стоять, качать её помогают тебе подружки. А она про старичка: «Хочет убежать. Не отпущу, покуда не доем!» Припала к тебе, руками и ногами обхватила тебя и на твоём держится. Отъедает забубённого.

Этак обедает интересно – и тебе перепадает. А уж и ты рад её получше поддержать. Послужить для обеда. Понял, наконец, что это не больно-то и вредно тебе. И задохнёшься оба – от здоровья-то. Волчица сыта, и ты не обижен. «Пошёл кисель овсяный – будет мякиш пеклеванный!»

Ишь – радость. Всяк тебе скажет: мякиш после обеда – богатая жизнь!

А задумчивый народ, соседи, говорили нам: «Не водите всякого этак-то обедать. Будет неприятность». Но наши не задумывались. Тут на-а тебе – приходит советская власть! Наши: «Ну, теперь из обедов вылазить не будем!..»

То-то... Приезжает начальство. С наганом, в галифе, сапоги хромовые. Молодая женщина. Это после стали её звать Зоя Незнаниха. А то – имя-отчество, строгий порядок.

Собрала наших, как заорёт: «Души-и врагов, как голую ложь, пока свинячья моча из ушей не пойдёт! Воткнём им штыки во все чувствительные места!»

Тут наши-то задумались первый раз в жизни: вести её на интересный обед, нет? Найдётся кто такой смелый – предложит ей раздеться?

Нашёлся говорун Антипушка. Гулёный холостой мужик, лет двадцати пяти. Крутил изда-лека, да намёком высказал ей. Народ, мол, желает раздеться догола ради удовольствия летней погоды, и чтоб вы заодно... А она: «Порадовал ты моё сердце, товарищ! Хорошо, что народ понимает – как не раздеться догола, когда нам надо столько умного народу одеть и обуть? Разденусь и я – но когда последнего мироеда своими руками раздену!»

И перетрясла наших. Ходила с наганом по дворам, в подполы лазила. Сколько пересажала, сколько – на высылку. Людей сажать – не репку, нагинаться не надо. Никакой жалости, кричит, не знаю – а лишь бы на каждую народную слезу отобрать полтинник, у кого спрятан!

Вишь, сколь к месту слезливый народ у ней. До чего предана коммунизму. Вот его, говорит, я знаю – ненаглядный маяк. А боле – ничего!

Что юноша и девушка делают – не знала. И не хочу, дескать, даже знать.

Как она в Красной Армии служила, ей там ремнём руки связали и получили боевой подъём духа. Кричали на ней: «Даёшь победу над Колчаком!» А она рыдала – потом Антипушке призналась. Рыдала и билась, и ей поставили на вид: «Колчака тебе жалко?!» Постановили просить извинения у обиженных товарищей. Простите, мол, мою слабость. Видно, есть ещё у меня снисхождение к врагу. Вперёд при этих классовых делах будет только одна суровость!

Она думала, что и мужики этак же вяжут вожжами руки бабам и беспощадно делают детей. Ничего, мол, – всякая непреклонность на пользу коммунизму. Пусть дети рождаются готовыми красноармейцами. Сколь слёз-де ради нас задушено, столь причитается нам полтинников! Радовалась, что по ночам редкая баба кричит. Суровый народ! Некого-то и заставлять – извинения просить, за слабость.

Заставила лишь сделать колхоз. Обьезжает кругом на коне, учитывает полевую работу. А теплынь, раздолье! Мышки в траве снуют, ястребок парит. Облачка – лебяжий пух. Солнышко так и морит на жгучий сон.

Рысит Зоя перелеском: от жары потеет, от бдительности – холод на сердце. Глядь, на краю овсяного поля – какое-то колыхание. Ну, думает, никак враг колхозного строя затеял чего... Стреножила коня, крадётся с наганом к опасному месту. А девичий смех как вдруг вырвется – да ещё, да ещё! Страсть как хорошо кому-то.

Развела овсы руками: ей и засвети в глаза. Мужик без штанов и девка нагишом, рады радёшеньки. Сплотились пупками, потирают друг дружку, помахивают телами. Зоя вгляделась: руки у девушки не связаны, глаза сладкие – ни слезинки в них. И к мужику она этакая ласковая! Он было присмирел чего-то, а она ручкой дотянулась до двух яблочек молоденьких, давай их завлекательно теревить-куердить, ноготками задорить. Они и закачались опять: о девичьи балабончики голые, тугие, беленькие – тук-пристук.

А мужик, сквозь радостный задох, называет девушку изюминкой, медовым навздрючькопытцем. Такие нежные говорит слова – Зоя прямо потеряна. Не знаю, думает себе, нельзя представить даже, чтоб этак делали детей.

А что же они делают? Удивилась до того – дуло нагана устawiла себе в переносицу, почёсывает дулом лоб. После сурово хватает мужика за пятку.

Он – лягаться. Оторвался от голого-то, от горячего – Антипушка. Рычал, да и обмер. Зоя с наганом, а он с сердитой пушкой. Куда там уймёшь её! Так и нацелился в Зою наверхушки лилов, не боится зубов. Она в галифе, а наганом, однако, прикрылась. Я вас, говорит, посажу, это я знаю и не сомневаюсь. Но должны вы сказать, что делали, потому что этого я не знаю. И глядит на обоих, на голых-то.

Антипушка и перевёл дух. Незнаниха! Чуть не прыскает мужик. Уж он её сквозь видит. Сажайте, говорит, товарищ, – мы люди не капризные. Мы самое-то чувствительное на съеденье отдаём, лишь бы овсы спасти. Вестимо – врагу хуже ножа колхозный урожай!

Зоя как вскочит! Гимнастёрку обдёргивает, сапогом – топ! Ну-ну, мол, где враг?

Вот Антипушка объясняет. Крадётся-де враг воткнуть в колхозное поле зловерный колышек. А она – и указывает на девушку – предстающая полевая печаль. И говорит печаль врагу: я тебя, догола-то раздев, пойму! Ой, пойму! И задушу сурово. А враг посмеивается – не голая ты печаль, не совладаешь. Ну чего – тогда она душит его голая. А поле-то вот оно, родимое: лелеет колхозные овсы.

Эдак борются полевая печаль и вражий смех. И он начинает одолевать. Вот, мол, ха-ха-ха, воткну в колхозное-то единоличника посошок! А печаль: «Не успела Красная Армия воткнуть тебе штыки в чувствительные места, так я заслону поле своим самым чувствительным...»

Лишь только он хотел на колхозное посягнуть, она навздрючь-копытцем и переняла посошок единоличника. Тут уж и сама голая печаль в смех. Хи-хи-хи – не уйдёшь теперь! Он бы выскочить, а навздрючь-копытце за ним, за ним, балабончики подскакивают, тугонькие. Заслоняют поле колхозное, поёрзывают по нему, баюкают.

Он кричит: «Я середняк!» – «Хи-хи-хи, ты-то середняк? Ты-то?» Так и спорят – спорщики. Зоя его слушает, Антипушку, глядит: «Нет, этот не середняк. Уж это я знаю, размер-длину!» Да, мол... Качает головой. Всё и объяснено. Если бы, говорит, допускала суровость, как бы я посмеялась на вашу темноту! Но хорошо болеете за колхозное. Чувствительно. И очень здорово высмеян и опозорен враг. Вот соберём урожай и сделаем такое представление на всю область. Вы уж постарайтесь!

Убирает наган в кобуру и снова в объезд. Вздыхает. Эх, снять бы галифе да позащищать поле колхозное! И чего я на наган больше надеюсь, чем на свои балабончики? Неуж они у меня не прыгучие?

Антипушка и девка глядят вслед: ну, Незнаниха и есть!

А жар-то томит. Дух полевой пьянит. Тем более и в лесу сердце волнуемо...

Вот день-два минуло – едет Зоя лесом колхозные улы проверить, а тело плотно одетое так и просится на волю. Кругом ягода спелая, наливаясь, зверюшки жирок нагуливают. Как телу-то наголо не погулять? Не потешить себя в речке? Давно, чай, балабончики упруги заслужили – вон зрелые какие. И всё-то они ездят, всё они – а на них никто... Смутно эдак-то у Зои на душе, но сурово сдерживает свою чувствительность.

Едет бережком, а тут бывший помещичий сад одичалый. Встал конь под яблоней, задумалась Зоя, а над ней шёпот: «Потянем подольше – насладимся больше!» А другой голос: «Да, так сидючи, больно-то не разгонишься! Ха-ха-ха!» А первый голос: «Скок-поскок – есть яблочко!» А второй: «Ты держи меня получше – как бы не сорваться». – «Хи-хи-хи, чай, у меня не середняк – не сорвёшься!»

Зоя задрала голову, а на яблоне, на толстом суку – Антипушка без штанов, ноги свесил, помахивает. На нём утеснилась голая девушка, титёнки наливные в грудь ему потыкивает, ногами его обняла – упасть боится. Заняты оба – не видят, не слышат, кто под ними. У них одна мысль: кто из них рискует больше? Девушка говорит: «У меня риск двойной. Или твой сук подведёт – упаду. Или тот сук не выдержит – расшибёмся оба».

Антипушка в ответ: «Зато, коли кончится хорошо, у тебя сладость двойная: два сука тебя не подвели, сделали своё дело для тебя». Девушка взвизгнула, подскочила. Антипушка: «Скок-поскок – ещё яблочко! Только, пожалуйста, не части-и. Потянем подольше – насладимся больше!» А она: «На то и влезла на дерево, чтоб обуздать себя. Да, видать, невысоко мы сели». И давай подскакивать. Антипушка: «Ой-ой, сук трещит!»

Тут Зоя как крикнет снизу. Чуть не слетели оба. Слезли – стоят перед ней, мнутя. Она вынула наган: «Не знаю, чего вы на суку делали, но где тот враг, что подучил вас выбрать слабый сук?» Антипушка: «Ой-ой, кругом враги, кругом. Ищут, лишь бы колхозному делу повредить. Знаешь, какое ты дело спасла, дорогой товарищ?» Зоя строго глядит: «Какое?»

Антипушка кивает на яблоню. Рожала, мол, она яблочки вот такой величины – и показывает на свои причиндалы. А мы её учим вот эдакие крупные рожать – и берёт девушку за голые балабончики. На то-де и покрикиваю: «Скок-поскок – есть яблочко!» И балабончик Настенькин придерживаю, яблоне указую. Чтобы яблонька поняла, родимая. Этак мы за лето всё обучим, колхозное-то...

Зоя спрыгнула с седла. Да, мол... Качает головой. Верю, что душевно болеете за колхоз. Но до чего же вы тёмные люди! Не бдительные. Враг кругом, он и навредит, что сломится сук и не кончите вы по желанию. Расшибётесь, товарищи, не сделав коммунизма.

И вдруг со вздохом Антипушку обняла: «Жалко мне тебя, беззаветно открытый товарищ! Уж больно подходишь ты своей голой правдой для коммунизма!» А он про себя: «Ну, Незнаниха и есть! При эдаких балабончиках...» И тоже стал жалеть её.

Она: «Что мне с вами время терять! Враг, может, из ульев колхозный мёд крадёт, отдаляет, сволочь, коммунизм». А Антипушка: «Отдаляет, ой, отдаляет! Правильно чувствует твоё сердце, Филимоновна, медовую недостатчу. Оттого, поди, и телу-то томно?» А и как не томно? Конечно: одна мысль – коммунизм.

«Вот-вот, по мёду страдание каково, – Антипушка ей, – и должны мы это сделать ради коммунизма!»

«Да что, милый?»

«Э-э, Филимоновна! Ты едешь ульи проверять? А главный-то улей у тебя проверен?»

«Не знаю...»

«Ну-ну, зато ты и Незнаниха! А ну-кошь, скидай с себя...»

«Вы спятили, товарищ?»

Тут Антипушка построжал: «Где твоя суровость, Филимоновна, коли боишься быть бесстрашно голой ради коммунизма? Зато и рыщет враг не пойман, что ты даже главного улья не знаешь. Не укажу тебе врага-лазутчика!»

Зоя-то: «Необходимо указать, товарищ!» Топчется – ну, он её вмиг разул, стянул галифе. Трогает рукой её чувствительность, касается нежно навздрычь-копытца. Вот он и главный улей непроверенный – мёдом полнёхонек. А вот лазутчик – и показывает свой оголовок: вишь, воспрянул! Так перед ульем и выперся весь: бери его голыми руками, врага.

А Зоя: «Ох, и тёмен же ты! Я думала, действительного лазутчика укажешь, а не шутики шутить».

«Я тёмный, а за коммунизм болею, – Антипушка ей говорит и оборачивается к голой девушке. – Коли ты, Филимоновна, хорошей боли душевной не знаешь и знать не хочешь, мы с Настенькой лазутчика в улей заманим, увалюем в меду. Не пожалеем себя, а силы его лишим. Только тогда и будут понятны, кто колхозное, сладкое-то крадут... Все наши станут».

И прилагает Настеньку на ласковую травку, на бережок, холит ей рукой навздрычь-копытце: мани, мол, улей-колхозничек, проказливого лазутчика. А Зоя, в одной гимнастёрке, голыми балабончиками прыгучими по травушке ёрзает. «Стойте! Чей улей главный?» – «Твой, Филимоновна». – «Как же, товарищ, ты думаешь поймать врага, если сам изменяешь нашему делу?!» Антипушка руками и развёл: «Ты же, Филимоновна, жалеешь себя...»

«Ишь ты! Что тебе дороже – колхозный мёд или бабье ломанье? Посажу подлеца!»

Ну, коли так... за то сесть, что не засадил – без совести надо быть! И отходит от Настеньки, обнимает Зою, балабончики гладит ядрёные, хочет её нежно положить на травушку.

Она: «И всё ж таки не знаю! Не тёмное ли делаем?» Ну, Незнаниха! «А ты возьми крепко лазутчика – может, узнаешь».

Вот она взяла его ручкой, пожимает.

«Ну, узнала чего-нибудь, моя хорошая Филимоновна?»

«Да вроде чего-то узнаю. И выпустить жалко, и впустить – сомнительно. Действительно ли ловим врага? Не дать бы партийной ошибки. А ты гладь, что гладил, гладь...»

Тут Настенька привскочила, голенькая. Погладить-де и после можно, а пока надо беззаветно отдать себя на поимку лазутчика! Что без толку держать? Чай, не безмен, а ты не продавщица. И из Зоиной ручки отняла, развёртывает Антипушку к себе, пошлёпывает его по задку: «Мы лазутчика обманем, на медок его заманим. Вишь, сторожа пьяны, сладенька без охраны. На-кось! На-кось!»

Зоя и встала во весь рост. Ноги без галифе подрагивают, стройные – прелесть! Балабончики поигрывают, голые, а она оттягивает на них гимнастёрку.

«Поняла я теперь, – кричит, – что это не ловля, а колхозная покража! Я вам дам – сторожа пьяны. Никогда ещё не была пьяной от вида врага, а коли сейчас опьянела: у меня есть чем его накрыть...» Как толкнёт Настеньку! А Антипушку опрокинула навзничь и надела на него – ровно как на стремянах опустилась на хитрое седло.

«Не сломи, ездучая! – Антипушка кричит. – Придержи галопец, не слети с седла! Голову не сломи, головку бедовую – ещё пригодится нам с тобой головка». А Зоя: «Сломлю – потому что, сам знаешь, правда на моей стороне!» Антипушка: «Ах, ах! Хорошо! Может, он и не враг, Филимоновна?» А она балабончиками по нему ёрзает взад-вперёд, прыгучими. «Не отвлекай, товарищ! В коммунизм едем!»

И уж когда возле Антипушки прилегла, сладко дышит – сказала на лежащего: а всё ж таки он враг. «Почему?» – «Уж больно хочется его поднять и засадить...» Вскоре и сделала: правда-то на её стороне.

С тех пор стала широко преследовать проказливых лазутчиков. Привлекла весь колхоз. Мужиков крепких тогда у нас было полно. До чего весёлая наладилась жизнь! И как уважал Зою народ. Мужики ей: «Спасибо, Филимоновна, за колхозный мёд!» А бабы: «Спасибо, родная, – все лазутчики теперь наши! Очень богатый у нас колхоз». До сих пор вспоминают старики: при Зое, мол, только и видали коммунизм.

Птица Уксюр

Как так у нас сохранился в целости Мартыновский бор? Тайна – впереди. Ежевики в нём – заешься. А гриб бабья плюшка? Его ещё оленьим грибом зовут. Умей только увидеть его. Понаберёшь – на коромыслах корзины при.

Сойди к Уралу под круту гору на Лядский песочек: нога купается в нём. Сухарь вкусный разотри – вот какой это песочек! Чистенько, не плюнешь. А водичка? Вымоет, как наново родит.

Девки на песочке – ух, игрались! Начнут в голопузики, кончат – в крути-верти. Громко было, так и разлетались шлепки. Народ говорил: ох, шлёпистые девки!

Вольный был народ, богатый: заборы выше головы. Каждый: чего лошадей-то, коров... Быков держал – на мясо! Как в Мартыновке на ярмарку резали их – в обжорном ряду объешься рубцов. А щи с щековиной? За всё про всё – пятак. Если косушку пьёшь, тебе бычьи губы в уксусе предложат. Закусишь – и свои отъешь, ядрён желток, стерляжий студень!

Вина привозили виноградного – и в бурдюках, и в бочках. В сулеях, в штофах и в полуштофах. Где была ярмарка – поройся в земле. Сколько пробок-то! За сто лет не перегнили. Вино выписывал Мартын-бельгиец. По нему зовётся Мартыновка, и бор по нему.

Такой вкусный любитель! Держал конный завод: битюгов выращивал, копыто с жаровню.

У него сынуля Мартынок, по девкам ходок. Ну, скажи – ни часу не мог без них. Ему помогал пастух Сашка. Спозаранку-то стадо выгонит и под гору сам, на Лядский песочек. Там, под самой горой, сплетёт шалашик. И идёт пасёт стадо.

Вот если в этот день девки ходили в бор за ежевикой или за грибами, он слышит, как они возвращаются. Зажгёт костёр и травы на него – дым-то столбом. Мартынок с усадьбы углядит дымовой столб и бегом. У горы встретятся с Сашкой, на берёсте вниз, как на санках. Нырк в шалаш.

А тут и девки. Приплясывают, похохатывают. Сперва телам потным дадут наголо-то остыть, после сбеганья с горы. Кипреем, пучками, обмахивают друг дружку. Одна скакнёт в воду по лодыжку, на других брызнет – взвизгнут, кинутся. Другая в воду... Вертятся, пополам гнутся, резвятся. А Сашка с Мартынком из шалаша наставили глаза на выплясы.

Девки – купаться. И уж как нежатся в водичке, покрикивают: «Ух! Ух! Ой, приятно!» Выходят весёлые, чесать тебя, козу, сдоба-то круглится! Ногами выкрутасничают, пупки так и подмигивают. Возьми стерляжью уху, чтоб жир желтками ядрёными, остуди в студень – станешь есть, зажмурит тебя, одним дыхом и ум заглотишь. Вот тебе эти девки купанные, в бодрости во всей.

Перво-наперво у них – играть в голопузики. Раскинутся на песочке, пупки в небушко. Так считалось в старину, что должны на это раки приманиться. Заведи козу дойную в реку – раки ей на вымя и повиснут. Вот, мол, и девка купаная как сохнет, козьим сосцом пахнет. Лежат: ну, полезут раки сейчас. А ничего. А уж Сашка с Мартынком вострят глаза из шалаша.

Тут какая-нибудь девка начнёт: «Мы готовы, а чего-то рачок не выходит». Другая: «Не хватает чего-то для рачка». – «То и есть, Нинка, лежи, пузень грей хоть так, хоть бочком, а не кончится рачком!» Такой завязывается разговор. Вздыхают, набирают загар. Горяченье от него. Вот какая-нибудь девка: «И чего ж для него не хватает? Не рядом ли это где?» – «Да откуда же, Лизонька, рядом-то быть? Не в шалашике том?»

Жалуются друг дружке; а песочек всё горячий. «Эх, девоньки, сомлела! Нету терпенья боле в голопузики играть. Что рачок? Пусто лукошко». И другая: «Тело – огонь! В шалашике хоть тенёчек найду...»

И этак лениво к шалашу. Да как взвизгнут, да ладошками стыд прикрывать! «Ой, девки, – страх! Ой-ой, ужаси! Глядят за нами!..» Скакнут, в гурьбу собьются. «Срам какой,

нахальство! Это кто ж бесстыдники, чесать их, козелков?» И размечут шалаш. «Сашка-пастух, чтоб тебе посошок сломать! А вы, Мартынок, такой из себя молодой человек, и не стыдно перед папашей вам?»

А Мартынок: «Не срамите, золотки! Что хотите делайте, только папаше не сообщайте!» – «И сделаем! Ой, сделаем!» Сорвут с обоих всё – и валять, и шлёпать. Остальное всяко... Шлёпистые девки, ретивые. И так поворотят, и этак: не балуй! Чтоб тебя в другой раз стыд заел! Наказывают, не жалеют – игра крути-верти.

Глянь с горы на Лядский песочек: одно голое мельканье. Толчётся гурьба; смехота да визг, да толчки. Не поймёшь, чей зад виден: девки какой иль Сашки, иль Мартынка. Парни телами гладенькие, аккуратные. Ну и достанется им. А как иначе? И намнут, и поцарапают. Не подглядывай, не раздражай. Такотки. Дурак не разберёт, чего ему больше дали. А умным понятно: всё даденное – одно. «Спасибо, золотки!» И папаше не скажут.

Так и велось, и вот Сашка ладит который за лето шалаш. Там рядом с Лядским песочком медоносы цветут, и уж больно шпорник расцвёл: синенький, приятный. Прямо заросль. Ещё его зовут живокость. Переломы лечит. А девки им следы от засосов сводят. Смочит настоем – и нету. Дай-кось, Сашка думает, вплету этих цветков в шалаш, в прошлый раз их не было. Заглядятся девки на красоту, а у кого глаза синие – тем более поймут уважение. Ну, скажут, Саша – кавалер! Знает не только посошком вертеть, оголовком.

Заходит в заросль, а оттуда птица интересная – порх! Так в глаза-то блеснула красивыми цветами. Недалеко садится на песочек. Вроде как большой курёнок, но рудо-жёлтое оперенье у неё, штанишки перьевые. Шейка малиновая, в хвосте и по крыльям лазоревые перья. Головка этакая увесистая, больше, чем у курицы, и лохматенькая; тёмные кольца вокруг глаз. Что за птица?

Сашка как встал – ну глядит. Походила по песку и низко полетела над рекой, над Уралом. Перелетела на ту сторону и в бор. Там кукушка кукует, сорока вылетела, а этой не видать больше. Нет. Сашка руками заросль разводит – гнездо и птенец.

Вот он шалаш dokonчил, стадо поглядел – а! забегу к Халыпычу, к колдуну... Забегает с птенцом. До чего, мол, птица была: не опомнюсь до сего момента. Не наведёт на клад?

Халыпыч из подлавочья вынул кошму, постелил. Прилёг, усмехается на птенца: «Только редкие старики-татары распознают... и я! Это птица Уксюр. Эх, жаль какая, что мне восемьдесят третий годок – было б год назад, овечья мать!» А Сашка: «А что?» Халыпыч говорит: «Кто птицу Уксюр увидит, даже хоть птенца, будет с царицей спать. Но только если тебе восемьдесят один с половиной не стукнул. А то не исполнится».

Объясняет: «Ты саму птицу видал, и тебе от неё уже далось. Значит, касательно птенца ты не в счёт. Я вроде как вижу его первый, и мне бы, конечно, далось от него. Один годок подвёл, расщепись его сук! Но и другие гляди теперь – лысый шмель им дастся, а не с царицей спать. Мы его уже подержали». И садит его на ладонь. После подержанья теряет, мол, силу.

У Сашки вопрос: «А как кто после меня птицу увидит?» Халыпыч: «Хе-хе, если за час не узнает, что она – Уксюр, не подействует. А тут, кроме меня, на сколь хочешь вёрст кругом – не откроет никто».

«Ну, – Сашка просит, – не открывай, прибежит кто. Уважь».

«Уплотишь?»

«Знамо дело!»

«Сомнительно мне, – старик говорит, – откуда у тебя возьмётся хорошего».

«А мне Мартынок жеребёнка от битюга сулил. За помощь в удовольствии».

«Ага, – старик рад, – жеребёнка желательно мне!»

А Сашка: «Да что! чай, если мне с царицей спать, и деньги перепадут от неё, вещицы какие. Всё тебе!»

Халыпыч тут косо взглядывает: колдун и колдун. «Не сули неизвестного! Не про блоху на царской ляжке серебряна чашка». Требуе уговориться на жеребёнке.

Уговорились, а Сашка: чего деньги, вещицы... Узнать бы, как она вблизи царить будет, царица. Чай, не как девки – крути-верти со смехом, с нахальством. Уж и покажется, белосдобная, – на ослепленье! нарядец, украшения на ней – да не скрыт пупок и царёв елок. «Ах!» – и поворотится, ножками затопчет. Оглянется строго-то: «Подойдите!» И: «Ах!» Опять поворотик, топоток: уж бела-бела, а туфельки золочёны! Ручку протянет – «Ах!» И назад её. А глаза-то, глаза! И огонь в них царский, и слеза царская.

От деликатности – со слезой берёт удовольствие. От гордости и от умственной печали слеза – не смеху же глупому быть? Ты её тело царское на руках, а она тебя печально поглаживает... Да вдруг: «Ах!» И вдарились в мах! После слезы-то. Ух, грусть-печаль, стерляжий студень.

Так он с мечтаньем своим разахался – Халыпыч на кошме покряхтывает, головой кивает: да-да, мол, этак оно с царицами-то! А Сашка с царской слезой до того расходил себя – в слёзы. Вдруг не сбудется? Как он без меня будет: пупочек царский, не мной баюканный? Во-о наказанье! Не-е, не приедет царица к нам.

А Халыпыч: «Прие-е-дет. Битюгов-жеребцов Мартыновых поглядеть. Звери! В какое-никакое время, но угодит любопытству. А уж где Мартыну её принять – сам знаешь».

Мартын при своей усадьбе держал ещё дом; ну, прямо малый дворец. Его потом разобрали, сплавил по реке в Орск. А там возвели как музей революции. Мартын в том дому устраивал ссыльных. Ему за них платило правительство; важные лица бывали среди них.

К Мартыну наезжал особый смотритель: волосища седые, борода в руку по локоть длинной, заострена. Обговорают про ссыльных тайное всё, вино дорогое пьют. Мартын смотрителя обязательно угощает так: уткой, пряженной с налимьей печёнкой в повидле. Кто понимает чернокнижие, тому это на вкус и на пользу.

Ну, сколько налимов изведут на печёнку! Мартын за них платил рыбакам – не торговался. А смотрителя они боялись. Глаз жестокий. Что не так ему понравилось – отомстит.

Вот Сашка идёт от Халыпыча, а он и едет, смотритель. Халыпыч из избы орёт: «Гляди, не уплотишь – и я не соблюду! Открою – прибежит кто насчёт птицы. Не дастся царица-то!»

Сашка машет рукой: будет тебе всё! Тише, мол. Везут кого-то... Смотритель впереди на лошади. Конвой тут, телеги. Проехали... Сашка – ну, время уж к стаду бежать. Из бора девки идут. А у него, с Халыпычем-то, с разговорами, костра нет, дрова не наношены. А девки близко: смешочки, хаханьки; песенка заливица. Самая игра приспевает.

«Эх, – Сашка думает, – поморю клячонку, авось не падёт». Ему была общественная лоша-дён-ка выделена. Только шагом и езд на ней, и то – по времени. Уж больно лядащая. Сказано ему: отвечаешь за лошадь! Знали Сашку-то; дай ему коня – по девкам на дальние покосы кататься будет, галопиться.

Ну, погнал клячу. Кнутом её – к Мартыновой усадьбе вскачь. Глядит, а от задов усадьбы Мартынок бежит. Вишь, и без дыму поманило на Лядский песочек. То-то есть указчик при нём, при Мартынке, хи-хи-хи! Чего-то только не вниз бежит, навстречу, а на изволок, в крыжовник. Эта дорога была б короче, если бы не овраг за крыжовником. Через тот овраг и шустрому Мартынку долгонько лезть.

Сашка за ним. Громко звать боится – чего зазря привлекать интерес с усадьбы? Да тот, поди, сам копыта слышит. Не-е, не оглянулся. Летит – пятками по задку себя так и наяривает, к земле припадает, нырк в крыжовник. Сашка с клячи да следом. Ну, если б тот перед оврагом не встал – не настиг бы. Овраг помог.

А-а! Мать моя, хренова тёща! То и не Мартынок. Парнишка так собой видный, похожий – но не он. «Ты не брат ли Мартынка?» У того брат учился в Бельгии где-то, в Европе.

Паренёк поглядел-поглядел, кивает.

«Наслушался про Лядский песочек? Не ту он тебе дорогу показал! – Сашке смешно: – Были б у тебя крылья – овраг перелететь – самая и была б дорога. А так чего? Пожалуй, лезь». Тот – ничего.

«Погостить приехал? Будет тебе удовольствие. Сделаем! А Мартынок, чай, по усадьбе крадётся подглядеть – не баб каких привезли в ссылку сейчас?» – и смеётся, Сашка-то. Ладно, говорит, теперь уж не успеем его позвать, у него своё занятие. Пошли – поведу. За брата не будет в обиде на меня.

И вот они в шалаш, а девки – на Лядский песочек, с охотой да с приплясом. Без задержки у них, как ведётся. Себя наголо: кипреем обмахивают друг дружку. То ль остужают, то ль горячат. Занялись рачком, поманили, пожаловались: не идёт, мол. Да... Не хватает чего-то для него...

Как велось, так и теперь всё. Взыгрались, разметали шалаш. Сорвали с парней – что на них-то... И-ии! Хрен послушный, вид некушный! С Сашкой – девка! Он сам первый обомлел: ух, ты, ядрёна гладкость! Такая наливная девушка! Капустки белокочаные, яблочки желанные, малосольный случай...

Что да как? Откуда? А она дрожит! А Сашка: «Не вините, девоньки, самому сюрприз, бедуй моя голова от оголовка. И ты, милая, не взыщи. До чего ж хорошее у тебя всё – ишь! ишь! Насмерть ухорошеешь глядеть. А охота – взыщи вот».

Тут кто-то из девок прибежал: «Ой! Она! Её ищут...» Ссылных-де сегодня привезли: она и сбеги... Как эта девушка зарыдает! Забило всю. Сашка на колени: «Умные, красивые, не выдадим! Не то утоплюсь!» И она тоже – топиться. Насилу приклонили к песочку, держат.

А кто-то: «Беда! Погоня на гору въезжает! Смотритель».

Топ-топ – кони войсковые. Храп сверху летит. Смотритель злей волкодава. Ветерок куделями седыми балует, борода белая, длинная, заострена. Ну, скажи – жестокий до чего!

Девки шепчут: «Давай игру крути-верти. И ты, барышня, как все будь. В том лишь спасенье твоё». Ай! ай! – затопотали, затолкались. Всякие ужимки на показ. Её на четвереньках придерживают, чтоб сверху не узнал. И другие так же на четвереньках возле неё. «Нас-то, кажись, всех в личность знает боле-мене, а ты больше к реке повернись. Чего ему личность казать? Пускай вон чего любитесь!»

А одна: «Ой, страх! Трубу наставляет». Смотритель наводил подзорную трубу. «Ну, – Сашка шепчет, – одно осталось, хорошая. Не то спустится и тогда уж легко выяснит. Одно нам осталось сделать, как ни крути». Он, мол, в трубу всех переглядит – одна ты под сомнением. Вот мне надо с тобой, как со своей; и лица не покажем.

«Бойчей, – молит, – выворачивайся, да поддавайся опять, опять! да шлёпай, да эдак – брык! Ещё, хорошая: не отличайся от девушек, распусти руки – дерзи! спасай себя – посошка не страшись, в нём-то самая жисть...»

Глядит! Не вздумается-де старому пню, что ты до того ловка, ха-ха! Лишь сбежала – и оголилась, и весёлая-то, не хуже других охочих; милуешься как своя. Поддержи, касаточка!

Девки подправляют её, помогают телом мелькать – кочанами, круглотой сдобной выставлаться, чтоб лица не определила труба, не углядела чего не надо. «Слушай Сашку, барышня! Делу учит».

«Ну, – он просит со всем жаром души, – не взвейся теперь! Какая ни есть грусть – не взрыдай, а нахально попятясь. Грусть в тебя тугая, а ты попять её, попять. Кочаны круче – размашисто вздрючу».

Бульдюгу вкрячил – и в крик ишачий! Она: «Ах!» – и чуть не набок с четверенек-то. Поддержали её. Оба притихли, дышат прерывисто: он даёт время, чтоб и её проняло. Ровно б шутник-наездник на кобылку-стригунка громоздится – лёг пузом на круп. Нежненький круп-то, нетронутый, уж как волнуется под пузом! Трепещет. Она порывается скакать – ножонки подкашиваются.

По дыханию её, как стало жадней, понял момент. Пристроил неежду себе в удобство, направил шатанье в нужный лад – и как на галоп переводит. Старичок толчком да разгоном, он молчком, а они – стоном.

И не подвели друг друга. Сделали сильно. Забылись от всего нервного, ничего не видят, не чувят. После уж девки сказали: сверху, с горы, смотритель ругнулся. Другие, с ним-то, – в смех, крикают, бычий мык, задом брык! А он: «Лядский песочек и есть!» Плюнул, уехали... Не узнал тонкости происшедшего. Вот так спасенье пришло.

Поздней Сашка переплыл с девушкой через Урал. Как стемнело, девки им лодочку. Где на лодке, где по тропке: в Ершовку доставил её. Там, она сказала, поджидала богатая родня. Отец ли, кто ещё – тайно за ней ехали и в Ершовке встали под чужим паспортом. Чего уж им девушка с Сашкой сказали про спасенье – отблагодарили Сашку хорошо. Баул денег дали.

Сашка с этим баулом вернулся – и уж боле не пастух. Сам нанимает пастухов. Поставил пятистенки, а рядом сруб – вино курить. Скотины навёл. Служанки обихаживают его. При кухне – Нинка; по остальному – Лизонька.

Он поутру выйдет без порток на крыльцо: для пользы, для обдувания тела, как доктора объясняют. Крыльцо высокое; он с него по тазам перевёрнутым и направит дождя. Побарабанил. А солнышко встаёт, чижи голосят! Лизонька чашку ему – вино накуренное с молодым мёдом: зелёный прямо медок, текучий. Не мёд – слеза тяжёлая, как у предутренней девушки. Сашка выпедит до донышка – хорошо ему. Сырым яичком, из гнезда, закусает.

Да и прислужниц баловал: надавят молоденьких огуречиков горку и соком обтирают себя в нежное удовольствие. Молочком парным умывались.

А всё ж таки не разлюбил он Лядский песочек! Так же возобновляли шалашик с Мартынком. Но уж теперь попеременно караулили девок из бора. То Мартынок дымом сигналит, то Сашка.

Вот в самое крути-верти, в самое мельканье-толканье на песочке – как ахнет с горы! Коленки подсеклись у всех – так жагнуло. А Сашка – не-е; не слышит. Девка обмерла, а он играет. Ну, чисто – кобылий объездчик! Все от страха не хотят ничего, а он въезжает куда хотел, выминает избёнку, теплюшу потчует. «Ишь, – девке говорит, – как хлопнула ты меня!» А она: да какой, мол, хлопнула? Окстись!

Радостный задых минул, он видит – дымок поверху летит, от горы. Тихо. Не стронется гурьба. И девки, и Мартынок таращатся на Сашкино хозяйство. Он: «Чего пялитесь, смешные? Или не ваше? Или Мартынок кладь потерял?» А они: «Тебя жалко, Саша, – влупило тебе по чуткому. Как терпишь боль?»

Он не поймёт. Они осмелели, посмотрели: ничего вроде. Говорят: кто-то с горы пальнул. Огромным зарядом шарахнул. Смотритель, видимо. И заметили, как Сашку то ли дробью, то ли чем – хлобыть по мошонке!

А он: «Шлепок был обыкновенный. Враньё!» – «Как так враньё?»

Нет – грома выстрела не слышал; не верит. А к ночи и скрутилось. Жар палит, гнёт-ломает.

За полмесяца кое-как оклемался, прилегла к нему Лизонька – и опять сломало его! Вот-вот очокурится. Смертельный пот холодный – подушки меняй через момент.

Уж как тяжело подымался! Ободрился было, а тут Нинка из подклети тащит кадку с яблоками мочёными. Расстаралась – выволакивает задом наперёд, кадка её книзу перегибает. Он и пожалел её, поддержал сверху: надорвёшься-де этак-то. Она попятилась, туда-сюда, хаханьки-отмашка. На тёлочку бугай – до донышка дожимай! Вкатил пушку в избушку – она вовстречь, жадна на картечь... А он после в лёжку. Через жалость.

Загибается человек, подглазья черны. Когда-никогда стал опять ходить – добрёл до Халыпыча. Тот воззрился, не узнаёт. «Личность вашу где-то видел, но сомневаюсь. Не вас отогревали на солнце, на калёной меди? С перепоею болели? От браги на курьём помёте был у вас удар».

Сашка сипит через силу. Были разговоры, теперь сипенье: «У меня другой удар». Напомнил, пересказал всё бывшее с ним. Халыпыч аж обошёл кругом его. «А! – говорит. – Ну-ну! Скукожился как. Всё одно будешь с царицей спать. Птица Уксюр своё дело знает!» А жеребёнок, мол, хорош: вон стригунок бегают... Как обещал, Сашка послал ему жеребёнка-битюга.

Вот болезный говорит: «С царицей не сбывается, но другое происходит. Поддержи, старый человек, уважай свои седые волосы. Не зазря тебе плотим...» Даёт денег: авансом отсчитал двадцать рублей.

Халыпыч заговорённых сучков нажёт на противне: дух душистый! Как угли остыли, велел их есть. И настоями попоивает, попоивает. Положил Сашку на лавку. После велит помочиться в скляночку. Такая немецкая склянка у него продолговатенькая. Принёс свечу жёлтую, вокруг неё потоньше свечка, белая, обкручена. Обе свечи зажёт, калит склянку на них, выпаривает из неё.

Ну так, мол, Саша, чего узнано. Смотритель саданул в тебя, черно книжник, овечья мать! Через девок-болтушек достигло до него, как ссыльную ты спас. Это какой урон ему по службе: сбегла бесследно. За своё ль она дело сослана или за родню – дело важное для правительства. От него смотрителю доверие, он, пёс, тыщи гнёт за надзор, а ссыльная делает перед ним побег с такой нахальной насмешкой.

Отомстил-де он тебе, Саша, жестоко. Правду люди сказали, куда он тебе попал. В самые твои грузила, сразу в оба влупил. Чем – знаешь? Каменючками из чернолупленного хариуса.

«Как, как?»

«Из чернолупленного!»

Халыпыч объясняет: как черно книжники от старого износу теряют мужскую возможность, они идут на мелководье спящих хариусов лупить. В особые ночи, в места такие: как в чёрных книгах указано. С наговором, конечно, ходят, с асмодеевыми знаками и бессовестными шептаниями.

Срежут молоденькую ольху, ствол оголят и по тихому мелководью – хрясь! хрясь! Где хариусы-то спят. Называется – лупление по-чёрному. Какая рыба всплывает – тот её хват! Привяжет мочалом к копчику. Носит на себе; и так ест и спит. Хариус подгнивает на копчике, светится синенько. Своё действие оказывает.

На седьмой день рыбьего ношения черно книжник получает свойство. Да... Баба боле не отстанет от него, так её и зудит: опять бы ненаглядное полелеять! Закабалена.

Сашка спрашивает: «Поди, и ты попытал?» Халыпыч: «Не-е, мне противно бабу морочить. Ведь ей лишь мнится найденная любовь. Мечтой себя тешит несчастная, а он просто полупливает её по месту, поверху. А никакой твёрдой правды нет. Избёнка нетоплена». Я не могу, Халыпыч объясняет, травить в человеке звезду надежды, коли та одним горит – был бы месяц становит! Ждёт избёнка правды кричей, а не обман всячий.

Но тут, мол, не только обман гостеприимства. Есть другое ещё. Какие хариусы луплены по-чёрному, но не взяты, они очухаются. И в молоках у них заводятся каменючки. От них всякая хитрая зловредность, от каменючек этих. Опасны очень разнообразно. Как черно книжник добудет хариуса такого, много к чему применит каменючки. К разной гибели, расщепись его сук!

«То-то хлобыстнул в тебя – а ты и ухом не повёл, – Халыпыч Сашке толкует. – Невдомёк тебе, что такое ты в себя принял». Даже-де любовь не сбилась в момент попадания. И ранки сгладились за делом, на кобылке-то. О, и каменючки! Сидят в обоих грузилах. Как ты отдаёшь себя, так и они тебе свой вред отдают, в каждый твой случай. И мрёшь. Во-о отомстил! Обида тебя поджидает последняя: через великую муку помереть на радостном человеке. Она ж не будет знать. Ей убаженье, а у тебя – последняя отдача.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.